

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



# СЛАВЯНО · · ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

# Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



## Содержание

Приветствие Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в связи с 50-летием Института славяноведения и балканистики РАН .....	3
Карасев А.В. (Москва). 50 лет Институту славяноведения и балканистики РАН.....	4

### СТАТЬИ

Г.В. (Москва). Памяти Никиты Ильича Толстого .....	7
Толстой Н.И. Слово о Вуке Караджиче .....	8
Виноградова Л.Н., Толстая С.М., Агапкина Т.А. (Москва). Из словаря "Славянские древности" .....	14
Норман Б.Ю. (Минск). О креативной функции языка (на материале славянских языков) .....	26
Венедиков Г.К. (Москва). К оценке словотворческих заслуг создателя новых болгарских слов .....	34
Вендина Т.И. (Москва). Семантика оценки и ее манифестация средствами словообразования .....	41

\* \* \*

Бирман М.А. (Иерусалим). П.М. Бицилли (1879–1953) .....	49
Зеленка М. (Прага). Роман Якобсон и славистические исследования межвоенных лет (по поводу дискуссий о характере и границах понятия "славянская филология") .....	64

### ПУБЛИКАЦИИ

Олонова Э. (Прага). "Вы знаете, что во имя Врхлицкого я изучил чешский язык..." (Письма К.Д. Бальмонта Е.А. Ляцкому 1920–1929 гг.) .....	77
--	----

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<b>Толстой Н.И.</b>	S. Niebrzegowska. Sennik jako gatunek polskiego folkloru. Słownik i semantyka ..... 104
<b>Стыкалин А., Кошкин Л.С.</b>	Е.П. Серапионова. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы) ..... 109
<b>Шерлаимова С.</b>	Im Dissens zur Macht. Samizdat und Exilliteratur der Länder Ostmittel- Südosteuropas ..... 116

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<b>Ефимова В.С.</b>	Конференция "Славянская лексикография: словарь и культура" (К столетию с начала публикации "Словаря болгарского языка" Н. Герова) ..... 119
<b>Будагова Л.Н.</b>	Несколько штрихов к портрету ученого (С.В. Никольскому – 75 лет) ... 123

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Ю.С. НОВОПАШИН** (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),  
**М.А. ВАСИЛЬЕВ**, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **В.К. ВОЛКОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,  
**А.А. ГУТНИН**, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **Г.П. МЕЛЬНИКОВ**,  
**В.В. МОЧАЛОВА**, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,  
**М.А. РОБИНСОН** (первый зам. главного редактора),  
**Л.А. СОФРОНОВА** (зам. главного редактора), **Б.Н. ФЛОРЯ**,  
**В.А. ХОРЕВ**, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)

Зав. редакцией *И.И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А.*, *Васильев М.А.*, *Веслова И.Ю.*,  
*Кошкин Е.А.*, *Масленникова Е.Н.*, *Стемковская Ю.Е.*



**Приветствие Президента Российской Федерации  
Б.Н. Ельцина в связи с 50-летием  
Института славяноведения и балканстики РАН**

В январе 1997 г. Институту славяноведения и балканстики РАН исполнилось 50 лет. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин направил коллективу в связи с этим юбилеем следующее приветствие:

**Сотрудникам Института славяноведения и балканстики  
Российской Академии наук**

**УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ!**

Сердечно поздравляю вас, весь коллектив Института славяноведения и балканстики РАН со знаменательной датой – 50-летием его создания.

За полвека ваш Институт стал ведущим научным центром мировой славистики, и его деятельность делает честь России как крупнейшей славянской стране. Ваш вклад в комплексное изучение истории и культуры славянских народов и их соседей получил заслуженное признание в нашей стране и за рубежом. Многие труды Института по праву вошли в золотой фонд отечественной и мировой науки.

Заслуживают поддержки ваши усилия по разработке актуальных вопросов межнациональных отношений, кризисных ситуаций, а также проблем религии и культуры. Особое значение имеет начавшееся в Институте изучение Украины и Белоруссии.

Ваша научная и общественная деятельность способствует достижению благородной цели – тесному сближению братских славянских народов, укреплению между ними вековых уз дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.

Ученым Института даже во времена идеологического диктата были присущи творческий подход, стремление к истине, самостоятельность научных суждений. Уверен, что в условиях свободы вы сумеете полностью раскрыть свои научные способности и таланты. Своим подвижническим трудом вы, уважаемые ученые, снискали глубокое уважение и признательность. Государство знает, что оно многим обязано ученым, и сделает все возможное, чтобы российская наука скорее преодолела нынешние трудности.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья и счастья. Новых творческих успехов вам во славу российской науки, на благо России!

15 января 1997 г.

Б. Ельцин



## 50 лет Институту славяноведения и балканстики РАН

По случаю 50-летия Института славяноведения и балканстики 16 января 1997 г. состоялось торжественное заседание Ученого Совета Института с участием всего коллектива. Вице-президент РАН, академик В.Н. Кудрявцев огласил приветствие Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Директор Института, проф. В.К. Волков выступил с докладом, основное содержание которого отражено в его статье "Российская историческая славистика на пороге XXI века: смена исследовательской парадигмы" (Славяноведение. 1996. № 6 и во вступлении к книге "Институт славяноведения и балканстики. 50 лет". М., 1996).

На торжественном заседании присутствовали многочисленные официальные гости. В приветствии коллективу Института от Президиума РАН, подписанном Президентом академиком Ю.С. Осиповым, вице-президентом академиком В.Н. Кудрявцевым и главным ученым секретарем академиком Н.А. Платэ подчеркивалось, что «заметным вкладом в развитие науки Институт прочно утвердил свое место в мировой славистике. Для России, как крупнейшего славянского государства, его деятельность имеет особое значение. Создание России как самостоятельного государства, образование СНГ поставили перед российскими славистами задачи государственной важности, особенно в области украинистики и белоруссоведения, изучения современного балканского кризиса. Мы с удовлетворением констатируем, что Институт своевременно отреагировал на произошедшие изменения, внес серьезные коррективы в свои исследовательские проекты и организационную структуру. Не случайно на ваш Институт, как на базовый, опирается деятельность Научного совета Президиума РАН по проблемам развития стран СНГ».

Президиум РАН высоко ценит вашу активную роль в общественной жизни страны. Ведь именно ваш Институт выступает организатором и непременным соучастником ежегодных научных конференций "Славянский мир: единство и многообразие", которые являются важной составной частью государственного праздника России – Дня славянской письменности и культуры, отмечаемого 24 мая». Далее в приветствии сказано, что Российская Академия наук вправе гордиться достижениями ИСБ РАН. Сходные соображения содержались также в приветственном слове академика-секретаря Отделения истории РАН А.А. Фурсенко, который отметил, что Институт славяноведения и балканстики занимает достойное место в ряду других институтов Отделения, научные труды его сотрудников по праву пользуются признанием мировой научной общественности.

Директор Института российской истории, член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров в своем выступлении заметил, что "наши институты с давних пор связывают родственные и дружеские узы. Мы помним, что многие ваши сотрудники когда-то работали в Институте истории... В составе вашего коллектива со временем основания Института дружно и плодотворно работают историки, лингвисты, литературоведы, фольклористы, искусствоведы, что позволяет вам создавать первоклассные комплексные работы не только по политической и социально-экономической истории, но и о культуре южных и западных славян, а также о происхождении всех славянских народов, в том числе и восточного славянства".

Директор Института всеобщей истории, член-корреспондент РАН А.О. Чубарьян подчеркнул заслуги коллектива Института "в изучении места и роли славянских компонентов в мировой цивилизации". Институт осуществил "серьезный прорыв в славяноведении на основе его понимания не только как комплекса научных дисциплин, но учитывая и богатые возможности интердисциплинарных исследований. Подготовлены и опубликованы серьезные труды, в которых раскрываются проблемы социальной, политической и духовной жизни славянских народов. ИСБ РАН превратился в реальный координационный центр по проблемам славяноведения и балканстики. Он дал новый существенный стимул для исследований по всей стране. В нем ведется большая работа по подготовке новых научных кадров, по вовлечению в науку талантливой молодежи".

Поздравления коллектива Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая передал его директор, проф. В.А. Тишков, который подчеркнул, "что невзирая на все преграды, Институт славяноведения и балканстики сумел удержать свои позиции и стал ведущим научным учреждением в области славистики. Высокий научный потенциал Института и создаваемые им труды по существу определяют уровень мировой славистики". Теплые слова в адрес ИСБ РАН прозвучали также в поздравлениях от коллективов Института археологии, Института Дальнего Востока, Института востоковедения.

Директор Института научной информации по общественным наукам РАН, академик В.А. Виноградов подчеркнул, что «как славянские народы находились в эпицентре европейских и глобальных процессов, так и Институт славяноведения (а затем Институт славяноведения и балканстики) был с 1947 г. в эпицентре мировой славистики. Выпускаемый Институтом более 30 лет журнал "Славяноведение" был и остается единственным в стране периодическим изданием, освещющим весь комплекс вопросов развития отдельных государств Центральной и Юго-Восточной Европы и региона в целом. ИНИОН РАН и ИСБ РАН сближает активное сотрудничество в подготовке научно-информационных и аналитических работ».

Декан исторического факультета МГУ, проф. С.П. Карпов отметил, что "между историческим факультетом и Институтом всегда поддерживались активные научные контакты. Среди сотрудников Института разных поколений много наших выпускников; совместными усилиями мы создавали коллективные труды, проводили научные конференции и симпозиумы. Ученые Института читали спецкурсы, руководили дипломными сочинениями и кандидатскими диссертациями студентов и аспирантов факультета. Мы убеждены, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем на благо отечественной науки". Заведующий кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, проф. Г.Ф. Матвеев особо выделил тесное и плодотворное взаимодействие кафедры и Института: «В ваши заботливые руки мы передавали лучших наших выпускников на "огранку и шлифовку", а вы превращали их в подлинные бриллианты славистики. Труды сотрудников Института были и являются той питательной средой, без которой трудно себе представить возвращение молодой славистической поросли».

От имени филологического факультета МГУ коллектив Института поздравила преподаватель кафедры славянской филологии, проф. Е.З. Цыбенко. В адресе за подпись декана филологического факультета, проф. М.Л. Ремневой и заведующего кафедрой славянской филологии, проф. В.П. Гудкова особо выделялось плодотворное взаимодействие и сотрудничество филологического факультета и Института: "Большинство лингвистов и литературоведов Института являются выпускниками филологического факультета МГУ, главным образом его славянского отделения. В свою очередь, ученые Института принимали и принимают активное участие в учебном процессе филологического факультета, способствуя подготовке и воспитанию новых поколений славистов".

Поздравила коллектив ИСБ РАН также декан факультета иностранных языков МГУ, проф. С.Г. Терминасова, которая от имени своих коллег по факультету и ка-

федры славянских языков пожелала сотрудникам Института больших успехов в их подвижнической деятельности.

В приветственном адресе руководителя Федеральной архивной службы России, д-ра ист. наук В.П. Козлова указывалось, что Федеральная архивная служба с большим удовлетворением отмечает успешное научное сотрудничество Института с архивными учреждениями в подготовке многочисленных документальных публикаций по истории политических, экономических и культурных связей нашей страны со славянскими государствами. В сложных экономических условиях Институт сумел сохранить свой научный потенциал и даже расширить тематику исследовательских работ, продолжая активно сотрудничать с Федеральной архивной службой России в подготовке ряда новых документальных серий, в том числе "Катынское преступление. Документы и материалы", "Восточная Европа после второй мировой войны", "Венгрия 1956 г."

От имени Центра хранения современной документации Институт поздравил сотрудник центра В.Ю. Афиани, подчеркнувший наличие тесных и плодотворных уз сотрудничества между центром и Институтом и выразивший уверенность в успешном продолжении этого сотрудничества.

На торжественном заседании с приветственными адресами выступили представители Института военной истории МО РФ, Историко-архивного и военно-мемориального центра Генерального штаба, Академии славянской культуры, журнала "Новая и новейшая история", журнала "Вопросы истории", Славянского фонда России, Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

На заседании присутствовали дипломатические представители ряда славянских стран, в том числе посол СР Югославии Данило Маркович.

В связи с юбилеем Институт получил много поздравлений от своих зарубежных коллег. Эти приветствия от Посольства и культурного центра Польши в Москве, Польской Академии наук, Института истории ПАН, Института славистики ПАН, Института политических исследований ПАН, Института литературоведческих исследований ПАН; Академии наук Чехии, Института языкоznания ЧАН, Исторического института ЧАН, Института литературоведения ЧАН; Института истории Словацкой Академии наук; посольства Венгерской Республики в России, Института литературоведения Венгерской Академии наук, Института истории Болгарской Академии наук; Сербской Академии наук и искусств, Института балканистики САНУ, Исторического института г. Белграда, представительства Республики Сербской в РФ; Словенской Академии наук и искусств, философского факультета Университета в Любляне; Македонской Академии наук и искусств, Института национальной истории в Скопье; Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и т.д.

В адрес Института поступили приветствия от Московского регионального совета профсоюза работников Российской Академии наук, от Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, от сотрудников кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского университета.

К юбилею было выпущено издание "Институт славяноведения и балканистики. 50 лет" (М., Индрик, 1996), в котором дан аналитический обзор научных исследований коллектива за 50 лет и приводится обширная справочная информация.

© 1997 г. Карасев А.В.



## Памяти Никиты Ильича Толстого

*"Слушайте слово, народы словенськіе"*

Славянское слово, слово славян – его изучению и познанию посвятил свою творческую жизнь один из крупнейших российских языковедов нашего времени академик Никита Ильич Толстой. Оно занимало его и как основная структурно-семантическая единица языка с присущими ей признаками фонетическими, грамматическими и семантическими, и как речь или язык в целом – носитель и выражатель духовной культуры, важнейший признак этнической самобытности и самосознания славян. За долгие годы ученой деятельности Н.И. Толстой обращался к самым разным областям науки о славянских языках. Но особенно привлекали его проблемы лексикологии и семантики, в исследование которых он внес существенный вклад. Разработанная им на славянском материале теория семантических полей оставила заметный след в современной славянской лексикологии и семасиологии. Глубокий интерес Н.И. Толстого к таким проблемам, как язык и культура, слово в контексте культуры привел его не только к выдающимся личным результатам в той области, за которой в последнее время прочно закрепилось наименование "этнолингвистика", но и к созданию им широко известной, успешно и плодотворно работающей московской этнолингвистической школы, оказывающей сильное влияние на развитие этнолингвистики в других лингвистических центрах России и за ее пределами. Большой вклад внес Н.И. Толстой и в исследование истории славянских литературных языков, главным образом литературных языков славян, исповедующих православие.

Н.И. Толстой любил славянские языки, на многих из них свободно говорил. И как ученый он остался верен славянскому слову, славянским языкам до конца жизни – им посвятил многочисленные труды. Им же служила и его многолетняя беспокойная научно-организационная и педагогическая деятельность.

В публикуемой на страницах этого номера журнала подборке статей на материале разных славянских языков рассматриваются вопросы семантики и этнолингвистической характеристики лексики, возникновения и судьбы отдельных слов в литературных славянских языках. Здесь печатаются также не публиковавшийся ранее доклад Н.И. Толстого о Вуке Караджиче и одна из последних его работ – рецензия на диссертацию польской исследовательницы С. Небжеговской.

Авторы, редакция и редколлегия журнала "Славяноведение" посвящают настоящую подборку статей памяти Никиты Ильича Толстого, который с основания журнала в течение многих лет был заместителем главного редактора.

© 1997 г. Г.В.



© 1997 г.

## СЛОВО О ВУКЕ КАРАДЖИЧЕ

Выступление Н.И. Толстого на торжественном собрании  
в МГУ, посвященном 200-летию со дня рождения  
Вука Караджича, 23 ноября 1987 г.

В едва ли не единственном прижизненном литературном портрете Вука Стефановича Караджича, принадлежащем известному русскому ученому – академику И.И. Срезневскому, говорится, что Вук был человеком небольшого роста, в длинном сюртуке, облегающем талию, в высоких сапогах, его левая нога была согнута и опиралась коленом на костьль, что заставляло его ходить медленно, медленнее кого бы то ни было. Лицо его было из тех лиц, которые можно встретить только на Украине или в Сербии: оно было каким-то треугольным, со впалыми щеками, с глубоко посаженными маленькими карими и сверкающими глазами, почти всегда обращенными к земле, с густыми с проседью бровями и усами, придававшими его лицу суровое выражение. По этим чертам легко было узнать Вука Стефановича Караджича, легко было его отличить от более или менее оригинальных лиц, привлекавших в Вене к себе внимание. Так писал почти полтора века тому назад И.И. Срезневский, посещавший Вука на его венской квартире и учившийся у него сербскому языку [1. С. 44].

Но не только внешность Вука была специфична и своеобразна. Удивительной и необычной была и его жизнь, жизнь-подвиг, посвященный своему народу. *Вуком*, по-русски *Волком*, он был назван потому, что все его старшие братья и сестры умирали в детстве, и ему дали имя, которое должно было сделать его сильным, способным побороть недобрую судьбу, отнимающую человеческую жизнь. Он выжил в детстве, но в ранние молодые годы его поразил тяжелый ревматизм, изуродовавший его ногу и обрекший его на почти сидячую кабинетную жизнь, прерывавшуюся, правда, иногда путешествиями в поисках богатств народного слова, народной поэзии и народной мудрости. Все же Вуку удалось принять активное участие в Первом сербском восстании 1804–1813 гг., проходившем под руководством Карагеоргия – Георгия Черного, воспетого многими сербскими народными певцами и Александром Пушкиным.

Вук был письмоводителем при одном из вождей восстания – Якове Ненадовиче, при Правительствующем Совете Сербском, судье, учителем. Временное поражение сербов в 1813 г. заставило 26-летнего Вука скрыться в австрийских пределах и вскоре очутиться в Вене, где он пробовал свои силы сначала в роли журналиста, а затем уже утвердился в качестве профессионального филолога – языковеда и фольклориста, литературного критика и переводчика. И если сербский народ никогда не оскудевал в героях, готовых с оружием в руках выступить за его честь и свободу, ("за крест часни и слободу златну"), то в людях, способных бороться за это же дело иными, мирными

средствами – наукой и просвещением, сербский народ нуждался в большой мере. Караджич вышел из сербской революции самого начала XIX в. – так справедливо вслед за Вуком назвал Первое сербское восстание известный немецкий историк Леопольд Ранке. Караджич продолжил эту революцию в культурной, просветительской и литературной сфере.

Он добился революционных преобразований в области сербского литературного языка, обосновал и показал возможность его построения на народной речевой основе, открыл богатства сербского фольклора, сербского эпоса взорам всего славянства и всей Европы и стал к середине XIX в. одним из ведущих деятелей славянского национального возрождения, наряду с чехом Юнгманном, словаком Колларом, хорватом Гаем и др. После революции 1848 г., в 1850 г. Караджич совместно со словенцем Миклошичем, хорватом Кукулевичем-Сакцинским, Иваном Мажураничем и другими созывает в Вене совещание, окончившееся подписанием знаменитого "Литературного договора", по которому объединяются сербский и хорватский литературные языки, хорваты переходят всецело на штокавщину, и осуществляется один из идеалов "иллиризма" – сближение южнославянских литературных языков и литератур. Но до этого Караджичу пришлось пройти тридцатилетний путь борьбы за народную основу литературного языка и литературы, за право сербского языка "пахарей и пастухов" ("орача и говедара") стать полноправным членом славянской литературно-языковой семьи.

Охарактеризуем кратко этот путь. Систематического образования Вук не получил. Как он сам говорил, он был "самоук", т.е. самоучка. Все же кратковременное обычно пребывание то в монастыре Троноша, где он больше пас коз, чем учился грамоте, то в Сремских Карловцах, где пришлось уже обучаться латинской, словенской и немецкой грамматике и теологии, то в Белграде, где он был уже письмоводителем, учился немецкой корреспонденции, сделало его не просто образованным, но и просвещенным человеком, ясно понимающим свое призвание и цель в жизни. Судьба даровала ему и знаменитых учителей, таких как Лукиан Мушицкий – видный сербский поэт эпохи классицизма и Ерней Копитарь, известный словенский филолог, один из основателей палеославистики, цензор и хранитель Венской дворцовой библиотеки.

После прибытия в Вену в 1813 г. Караджич менее чем за пять лет с помощью Копитаря создает свой "Сербский словарь" ("Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима". У Бечу, 1818). Значение этого словаря хорошо объяснил академик Павле Иович. "Нет сомнения, – писал Иович, – из всех отдельных сочинений Вука первое издание Словаря – самое значительное. Нельзя назвать ни одного произведения в истории сербской культуры, которое сыграло бы большую роль в качестве поворотного события или фундамента будущего строения" [2. С. 19]. Словарь Караджича, второе издание которого вышло в 1852 г., в славянском мире можно сравнить, вероятно, только со словарем Даля, с той лишь разницей, что словарь Даля вышел в 1863 г., т.е. спустя полвека, и он уже не мог изменить сложившейся структуры русского литературного языка в пользу более активного или даже всестороннего применения языка народного, как к этому стремился Даль. Словарь Караджича, будучи фактически первым словарем сербского языка, заложил основу нового сербского литературного языка, порвавшего с церковнославянской традицией.

Ранний грамматический труд Караджича "Писменица србскога језика по говору простога народа написана" (У Виени, 1814) и более поздние языковедческие труды, печатавшиеся преимущественно в журнале "Даница", сыграли в революционной реформе сербского литературного языка и литературы меньшую роль, чем публикация словаря с грамматическим приложением и сербских народных песен.

Как оценить языковую реформу Караджича в общеславянском масштабе? Безусловно, Караджич и его сторонники показали пример и возможности формирования литературного языка на чисто народной основе (на основе восточногерцеговинского диалекта), и этому примеру в XIX в. последовали словаки, отчасти словенцы и болга-

ры, белорусы и украинцы, не говоря уже о хорватах, которые по сути дела объединили свой литературный язык с сербским. Однако существовал и другой путь, путь сохранения традиции при некотором приближении к народной речи и при органическом слиянии книжного и диалектного начала. Этим путем пошел русский язык, и Пушкин одним из первых продемонстрировал богатые возможности языка такого типа; тем же путем пошли польский и чешский языки. Гениальный черногорский поэт Негош своим творчеством показал возможность пушкинского пути и для сербского языка, но позиции караджичевской школы к середине XIX в. становились все прочнее и прочнее, и во второй половине этого века эта школа окончательно одержала верх.

Все же, как отмечал академик Ивич, "одно сомнение может появиться и появляется, когда мы обращаемся к результатам деятельности Вука Караджича. В период до Вука сербский литературный язык был тесно связан с русским, иногда настолько, что трудно было определить границу между этими языками. Разрыв этой связи должен был уменьшить возможность обогащения нашего литературного языка заимствованиями из русского и сократить непосредственные контакты двух литератур. Притом как раз в момент, когда русская литература, представленная Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем получала, наконец, мировое значение. Но в этом отношении развитие (сербской литературы – Н.Т.) шло путем исторической необходимости. Слишком велики были географическая отдаленность, различия в исторических условиях, а также расхождения двух народных языков (сербского и русского. – Н.Т.). Весьма показательно, что в дальнейшем развитии языков и украинцы, и белорусы, для которых упомянутая дистанция была значительно меньшей, все же сформировали свои отдельные литературные языки. Впрочем, сам русский литературный язык как раз в период деятельности Вука окончательно отделился от церковнославянского, который до тех пор был для сербов мостом к русскому языку" [2. С. 21].

Другой величайшей заслугой Караджича перед его народом и общечеловеческой культурой, помимо литературно-языковой реформы, было открытие и собирание сербского народного эпоса, сербского устного народного творчества. Фольклористическая деятельность Вука шла одновременно и параллельно с его лингвистическими занятиями. Еще в 1814 и 1815 гг. в Вене вышло два выпуска "Малой простонародной славеносербской пьеснарицы"; в начале и в середине 20-х годов вышла книга "Народне српске приповјетке" и стала выходить серия под названием "Народне српске пјесме", а в середине 30-х годов были изданы "Народне српске пословице".

Сербский фольклор, особенно сербские эпические "јуначке пјесме", были приняты в Европе с воодушевлением и восторгом, их открытие как нельзя более отвечало романтическим течениям и настроениям крупнейших писателей и филологов того времени. В немецких землях Вука приветствует Гете и переводит Якоб Грим и Талери, с ним сотрудничает историк Ранке; во Франции сербские народные песни из собрания Вука переводит и им подражает Мериме; в России эти песни переводятся Востоковым и Пушкиным. И Востоков, и Пушкин стараются сохранить не только смысл и дух караджичевских сербских народных песен, но и ритмику, размер, музикальность.

Так вошел в русскую поэзию знаменитый сербский "десетерац" – десятисложный стих, который по-сербски звучит так:

Двâ с бôра // на́поредо ráсла  
Међу њîма // тánкðврха јéла  
То не бýла // двâ бôра зелéна  
Ни међњîма // танкðврха јéла  
Већ то бáла // двâ брâтâ рðћена...

("Бог ником дужан не остаје"),

а по-русски в пушкинском переводе:

Два дубочка // вырастали рядом  
Между ними // тонковёрхая елка  
Не два дуба // рядом вырастали  
Жили вместе // два брата родные

("Сестра и братья").

От Пушкина и Востокова тянется до наших дней непрерывный ряд переводов сербского эпоса, сербских народных песен на русский язык. Эти переводы принадлежат известным поэтам и филологам Н. Гальковскому, И.Н. Голенищеву-Кутузову, А. Ахматовой, Н. Заболоцкому, М. Зенкевичу, М. Исаковскому, Б. Слуцкому.

Большая заслуга Караджича в том, что он открыл и представил миру огромный пласт славянской народной поэзии – лирики и эпоса, хотя отдельные ее фрагменты записывались и публиковались и ранее, еще в XV–XVI вв. (П. Гекторович и др.) и в XVIII в. (Фортис. Эрлангенская рукопись). Подобная ситуация наблюдалась и с русским эпосом, русскими былинами, русской народной поэзией. Ранние записи и сборник Кирши Данилова XVIII в. были лишь предзнакомствием большой собирательской деятельности 60-х годов XIX в. (сборники Рыбникова, Гильфердинга и др.), которая представила нам русскую былинную традицию во всей ее полноте. Караджич в более трудных условиях сделал это почти на полвека раньше, и тем самым во многом побудил и русских, болгарских, словенских и чешских собирателей и фольклористов выполнить свой научный и патриотический долг.

Караджич был также этнографом и историком. Без полной осведомленности и владения этими областями знания трудно себе представить крупного филолога, языковеда и фольклориста первой половины XIX в. В то время такая разносторонность была почти что необходимостью. Преимущества такой комплексности и многосторонности ощущаем мы и в наше время.

Хотя основной этнографический труд Караджича "Жизнь и обычай сербского народа" ("Живот и обичаји народа српскога") оказался незавершенным и вышел посмертно, в 1867 г., этнографические этюды Вука в "Сербском словаре" 1818 и 1852 гг. и в "Ковчежиче" ("Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона". У Бечу, 1849") с их точностью и полнотой описания заложили основу сербской академической этнографии, которая добилась замечательных успехов уже в начале XX в., с появлением школы профессора Йована Цвиича.

Значительны и многочисленны и исторические труды Вука, первый из которых "Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича, верховного вождя и предводителя народа сербского" был издан в России, в Петербурге, в 1825 г.; затем последовали жизнеописания знаменитых сербов – гайдука Велька Петровича, Георгия Эмануеля и многих других, описания первых лет сербского восстания против турецких "дахий", издание материалов по сербской истории новейшего времени, описание Правительствующего Совета Сербского времен Карагеоргия, Черногории и черногорцев, положения сербов в Герцеговине под Али пашой Сточевичем и другие сочинения.

Уже упоминавшийся мною И.И. Срезневский точно и кратко охарактеризовал Караджича как историка и этнографа: "Все, что в этой области он (Вук) написал, не является ни собранием, ни выборкой из других книг, но оказывается наблюдением современника. Конечно и он, как любой другой современник, не оставался равнодушным наблюдателем тем более, что все это касалось его отечества, его народа. Все же он умел скрывать свою пристрастность, и если даже иногда о чем-то умалчивал, то так, что никто не мог обвинить в умышленной подтасовке фактов". В языкоznании, в фольклористике, в этнографии и истории он был прежде всего собирателем и систематизатором достоверных фактов, материала, которым он сам пользовался, видел и слышал своими глазами и ушами, сам пережил. Вместе с

болезнью к Вуку рано пришла зрелость и мудрость, способность возвыситься над событиями и фактами, видеть их как бы со стороны. Он обладал удивительной способностью видеть и потребностью в этом. Поэтому он, несмотря на свой недуг, много путешествовал и неоднократно пытался, уже будучи известным ученым, поселиться в Сербии, но судьба его всегда возвращала в Вену, где он и скончался в 1864 г. В 1897 г. его прах был перенесен в Белград, где он и сейчас покоится у входа в соборный храм.

В завершение моего слова мне хотелось бы коснуться еще одной важной темы – темы "Караджич и Россия" и не потому, что мы сегодня отмечаем двухсотлетний юбилей Вука в Москве, в России, а потому, что без этой темы даже краткое описание жизненного и творческого пути Караджича было бы неполным и односторонним.

Вук был признан Европой. Он был почетным доктором университета в Йене, членом Krakowskого и Гетингенского ученых обществ, членом-корреспондентом (по современному – иностранным членом) Венской и Берлинской академий, почетным гражданином нескольких городов. Но первое признание, первая моральная и материальная поддержка Вуку пришла из России. В 1819 г. он был избран членом Петербургского вольного общества любителей российской словесности, в 1824 г. – членом Общества истории и древностей российских при Московском университете. В 1842 г. ту же честь ему оказало одесское Общество любителей истории и древностей, а в 1851 г. Петербургская (Императорская) Академия наук выбрала его своим иностранным членом, т.е. членом-корреспондентом. С 1826 г. по настоящему президента Академии А.С. Шишкова Вук получал из России ежегодную пожизненную пенсию в размере 120 дукатов. Российская Академия финансировала некоторые научные путешествия Вука, в частности, поездки в Срем, Славонию и Хорватию в 1837–1838 гг.

В 1841 г. Вук совершил поездку по Далмации совместно с русскими учеными – Н.И. Надеждиным и П.И. Прейсом. Едва ли не первой заграничной отлучкой Вука из Вены было посещение в 1819 г. Петербурга, где он встречался с Карамзиным, Жуковским, Шишковым, графом Румянцевым, Аделунгом, Калайдовичем и Кеппеном. Как известно, Н.П. Румянцев был одним из зачинателей русского архивного и библиотечного дела, русского славяноведения, создателем кружка, в котором объединились первые русские слависты – Болховитинов, Востоков, Калайдович, Кеппен, Строев и др. Кружок этот поддерживал тесные связи с Добровским, Бандтке, Лелевелем, Линде и Караджичем. Румянцев оказывал Вуку щедрую материальную помощь и побуждал его обезжать славянские области и собирать памятники книжной и устной словесности и истории. Ему посвятил Караджич свою вторую книгу сербских народных песен (третья была посвящена великой княгине Марии Павловне, а четвертая – Татищеву).

В 1820 г. Петербургская академия наук награждает Вука серебряной медалью, а в 1841 г. он получает от Николая I большую золотую медаль за научные заслуги.

Естественно, что медали, премии, ученые чины и звания – лишь внешняя сторона научного признания и поддержки, которую находил Караджич в России. И эта поддержка была очень важна и нужна для Вука, так как свои научные взгляды и идеи, свою национальную и культурную программу он проводил в жизнь, преодолевая упорное сопротивление ретроградов и архаистов, людей, склонных к старым канонам и шаблонам. Достаточно сказать, что в Сербии караджичевская орфографическая реформа была официально признана лишь в 1868 г., т.е. через четыре года после его кончины.

Русская наука не потеряла живого интереса к личности и научному подвигу Вука и после его смерти. В 1882 г. в Москве вышла книга П.А. Кулаковского "Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе". С тех пор более века русские и советские филологи-слависты изучают и пропагандируют творческие идеи Караджича, которые своим гуманизмом и подлинной народностью остаютсяозвучными нашей эпохе. Глядя в будущее, мы в то же время ищем примеры жертвенного

служения людям и науке в прошлом и находим их в лице Караджича и некоторых его современников. Вот почему его юбилей отмечается не только у него на родине – в Сербии и Югославии, но и во многих странах мира. Наша страна отмечает 200-летие Караджича и как свою дату, и это красноречивое свидетельство давних и неразрывных связей народов нашей страны и, прежде всего, русского народа с сербским народом и всеми народами Югославии.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Средневский И.И. Вук Стефанович Караджич. Очерк биографический и библиографический // Московский литературный и ученый сборник. М., 1846.
2. Ивић П. О Вуковом речнику из 1818 године (Поговор) // Сабрана дела Вука Караджића. Београд, 1966. Књ. 2.



## ИЗ СЛОВАРЯ "СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ"<sup>\*</sup>

В 1993–1996 гг. журнал публиковал подборки материалов к первому тому создаваемого в Институте славяноведения и балканистики РАН многотомного этнолингвистического словаря "Славянские древности". В 1995 г. первый том, содержащий статьи на буквы А–Г и библиографический аппарат, вышел из печати. Н.И. Толстой был инициатором, научным руководителем и главным редактором этого издания, а также автором нескольких десятков статей. В настоящее время авторский коллектив по мере возможностей продолжает работу над словарем и готовит к печати второй том (буквы Д–К). Ниже мы публикуем две статьи (также в предварительных версиях), посвященные, в отличие от предыдущих публикаций, не конкретным символам славянской народной культуры, а более общим, категориальным понятиям (концептам) и механизмам языка культуры.

C.T.

**ЗАПРЕТЫ** (табу) [1–6] – наряду с предписаниями, система правил, регламентирующих бытовое и обрядовое поведение и хозяйственную деятельность индивидуума и коллектива. Относятся к области обычая, народного права и моральных норм; имеют достаточно жесткую логическую и языковую форму и потому могут рассматриваться как особый разряд верований и особый языковой (в определенной степени и фольклорный) жанр. Как правило, запреты имеют двухчастную структуру (например, "не плюй в колодец – пригодится воды напиться") и состоят из собственно запрета и его мотивировки; первая часть может быть выражена "прохигитивом" (*не делай, нельзя, не следуем делать и т.п.*) или условием (*если сделать нечто, когда сделаешь нечто и т.п.*), а вторая – следствием (*то, а то, иначе будет то-то*), целевой или причинной конструкцией (*чтобы не случилось того-то, чтобы было нечто и т.п. или потому что и т.п.*). Логически, а часто и вербально запрет связан с определенным предписанием, тогда его формула оказывается трехчастной, например, белор. "когда продашь корову, не надо передавать ее новому хозяину голой рукой [прохигитив]; не будет плодиться [мотивировка в форме следствия]; надо обернуть руку полой платью [предписание]". Устанавливаемая в запрете связь (магическая или символическая) между двумя явлениями или событиями (в приведенном примере: голая рука – бесплодие коровы) отражает (как правило, косвенно) релевантные для традиционного сознания ментальные категории и механизмы и служит важным источником для изучения народных верований и реконструкции архаической "картины мира".

Содержание запретов охватывает всю сферу жизни и деятельности человека, его отношения с природой, космосом и особенно – с потусторонним миром, умершими предками и нечистой силой. Вместе с тем отдельные виды деятельности,

\* Продолжение. Начало см.: 1993. № 6; 1994. № 2, № 3, № 5; 1995. № 3; 1996. № 5.

наиболее зависимые, по народным представлениям, от "высших" или потусторонних сил, особенно богаты запретами. Таковы, в частности, скотоводство (прежде всего пастушеское), пчеловодство, охота, ткачество, строительство дома и др. В области человеческой жизни наибольшее число запретов относится к "переходным" и пограничным состояниям и событиям – рождению детей, браку, смерти, болезням. Для некоторых обрядовых комплексов запреты являются их главным содержанием (таковы, например, траур, пост, обет и т.п.).

Целью соблюдения запретов является предотвращение угрожающих жизни и благополучию людей событий и состояний: болезни, смерти, голода, падежа скота, неурожая, засухи, градобития и т.п. Прагматика запретов предусматривает и наказание за нарушение запретов, и систему искупительных мер (обычно магического характера), избавляющих от опасных последствий содеянного. Рассказы об этом, нередко в жанре быличек, могут заменять собой мотивировку. Например, полесский запрет пахать поле осенью в праздник "Чудо" сопровождается быличкой о том, как нарушивший этот запрет мужик вместе с волами окаменел.

Непосредственным предметом запрета (тем, что запрещается) может быть любой компонент бытовой, обрядовой или хозяйственной ситуации: время, место совершения действия, его субъект или адресат (лицо), предмет (объект) или инструмент действия, реже само действие, воспринимаемое как опасное. Однако чаще всего запрет касается одновременно нескольких компонентов (например, запрет находится определенному лицу в конкретное время в конкретном месте: роженице после захода солнца выходить из дома и т.п.), поэтому группировка запретов по этому признаку в значительной степени условна.

Запреты, обусловленные временным, наиболее многочисленны и строги. К ним относятся в первую очередь календарные запреты, из коих наиболее общий и повсеместно соблюдаемый – запрет на работу в праздники – полный, когда не разрешается даже топить печь и готовить пищу, или частичный, с уточнением запрещаемых видов работ (например, запрет работы в поле, рубки дров, снования, тканья и т.п.). Сила запретов этого типа зависит от ранга и мифологической трактовки праздника; особенно сильны запреты в Рождество (святки), в первые три дня Пасхи, в праздник Благовещения и некоторые другие, а также в наиболее опасные, "варовитые" праздники и дни (таковы в полесской традиции дни Варвары, Чудо и др.; у южных славян "волчьи" дни и т.п.).

С христианскими регламентациями связаны строгие запреты на скромную пищу в посты и особенно в некоторые дни: в Страстную пятницу, в среду и пятницу, в обетные дни; ср. также связанные с постом запреты на пение песен, заключение браков, свадьбы и др. К календарным можно отнести и запреты есть плоды до определенного срока (например, у русских есть яблоки до Спаса или ягоды до Иванова дня), купаться до или после определенного праздника (у русских – до вешнего Николы и после Ильина дня), воздержание от половых сношений в праздники и их кануны и т.п.

Большое число ограничений связано с днями недели; они касаются практически всех видов хозяйственной деятельности и особенно начала работ (первой пахоты, сева, выгона скота, начала строительства дома, сбора урожая, снования, тканья, шитья и т.д.) и заметно варьируют по регионам (например, у южных славян такие работы избегают начинать во вторник, который считается несчастливым днем, а у восточных славян это лучший день для подобных предприятий).

С соблюдением лунного календаря связаны повсеместные хозяйственные и бытовые запреты, вытекающие из магической трактовки нового, растущего, полного, убывающего месяца и безлуния ("пустых" дней). Например, у поляков соблюдается запрет сеять на "новом" месяце (посевное не уродится), но также и на "полном" (посевы будут "полны" сорняков); в Полесье особенно боятся безлунного времени; сербы избегают устраивать свадьбы на "ходе" месяца и т.п.

В рамках суток больше всего запретов относится к ночи и вообще ко времени после

захода солнца. Так, по верованиям поляков, после захода солнца не положено: работать в поле, давать что-либо взаймы из дома, особенно молока и молочных продуктов, а также огня; выбрасывать мусор, сушить детскую одежду и пеленки во дворе, даже говорить о пчелах и др. Все эти запреты объясняются верованием в то, что это время принадлежит нечистой силе и опасно для человека.

В структуре народного календаря есть дни и праздники, когда повседневные и всеми признаваемые нормы поведения, в том числе запреты, перестают действовать, "снимаются", что связано с особым характером времени (таковы, например, святки, ночь накануне Ивана Купалы и другие, когда разрешается красть, ломать заборы, ворота и т.п., когда снимаются ограничения в отношениях между полами и т.п.) или с "обратной" природой соответствующего обряда (например, ритуальные бесчинства, ряжение, пародийная часть свадьбы и т.п.).

Окказиональные запреты соблюдаются в случае разного рода неординарных природных и жизненных событий. Например, во время грозы, по полесским верованиям, нельзя есть, сидеть у окна, смотреть в зеркало и т.п. В дни отела коровы, рождения ребенка, в случае, когда в доме покойник, повсюду соблюдался запрет отдавать что-либо из дома и много других; в день отъезда кого-либо из домочадцев запрещалось мести пол и т.п.

Запреты, обусловленные местом, касаются прежде всего "нечистых" и опасных мест. При строительстве нового дома или хозяйственных построек избегали места, где когда-то проходила дорога, стояла баня или был сожжен молнией дом, где были найдены человеческие кости, где была пролита кровь, где буйно росли цветы и др. Во время работы в поле боялись отдохнуть на меже, оставлять там младенца; у южных славян запрещалось садиться и тем более спать под одиноко растущими старыми деревьями. Специальные запреты касались поведения человека на кладбище, в бане, на перекрестке, на мосту, возле воды, в лесу и т.д. Так, на кладбище не позволялось рубить деревья, рвать цветы, считалось опасным есть плоды с деревьев, растущих на кладбище, вносить в дом что-либо с кладбища, особенно землю; в бане нельзя было громко говорить, смеяться, есть, входить в нее в праздничные дни, чертить на ее дверях кресты. Сербы остерегались наступить на "сугроб" – место, где волк, собака, кошка, курица или другие животные своими лапами гребли землю; избегали места, где рубят дрова, особенно в вечернее и ночное время; боялись оказаться там, где водили хороводы вилы и т.п. Но и для "своего", "чистого" пространства были предусмотрены определенные правила и запреты. Так, в доме строго запрещалось находиться в шапке, свистеть, сквернословить, выливать в запечный угол грязную воду; нельзя было рубить топором на пороге, сидеть на нем, передавать что-либо через порог. Опасением осквернить святое место объясняется запрет входить в церковь женщинам после родов или в период месячных очищений, участникам святочных ряжений, пока они не прошли обряда очищения; так же мотивируются многочисленные запреты, касающиеся домашнего очага, сельского источника у сербов.

Бытовые и ритуальные запреты должны были соблюдать лиц, находившиеся в особом физиологическом состоянии (беременность, послеродовой период, месячные у женщин, бесплодие, болезнь), либо некоторые половозрастные группы и лица, определенного семейного статуса (например, девушки не должны были участвовать в праздновании родин; незамужние, разведенные и вдовы не допускались к печению свадебного каравая и т.п.). У всех славян строго соблюдались запреты на брак между лицами, состоящими в кровном, ритуальном (кумовство, побратимство и пр.), "молочном" родстве, иногда также между однофамильцами, семьями, почитающими одного святого (у сербов). В целом значительно больше запретов должны были соблюдать женщины, особенно у южных славян, где им запрещалось переходить дорогу мужчинам, в определенные дни прикасаться к мужской одежде, готовить пищу, кормить скот и т.п. Многим ограничениям и запретам были подвержены представители некоторых профессий и занятий (пастухи, гончары, мельники, кузнецы, плотники, пчеловоды и др.), а также лица, исполнявшие некоторые "опасные" обрядовые функции.

ции (обмывание и обряжение покойника, копание могилы и т.п.).

Значительное число ограничений и запретов соблюдалось при выборе лиц на определенные обрядовые роли: например, к участию в опахивании села от "коровьей смерти" не допускались мужчины; в ритуале колядования не могли участвовать беременные (иногда, наоборот, бесплодные) женщины; в группы волочебников запрещалось включать девушек и детей, а в "русалийские" и "калушарские" группы у южных славян – вообще женщины; в кумовья избегали приглашать неженатых; женщинам "продуктивного" возраста не разрешалось заготавливать целебные травы и т.п.

Большое число запретов накладывалось и на исполнителей обрядовых ролей и участников обрядов, особенно свадьбы, родин, похорон. Так, молодые по дороге к венцу должны были сохранять молчание, не смели оглядываться, смотреть друг на друга и многое другое; до них нельзя было дотрагиваться во время венчания, проходить между ними в церкви и т.п. В сербском обряде "слава" хозяин не имел права сесть и должен был во все время застолья угождать гостям стоя; женщина не могла быть главой "славского" обеда: если у нее умер муж, застолье возглавлял ее сын, даже малолетний, и т.п. Правила, регламентирующие поведение гостя и хозяина, покупателя и продавца, пастуха и хозяина скота и т.п., включали многочисленные запреты, так же как и правила этикета в целом.

Особая группа запретов касается отношений человека с животными и растениями. У всех славян существовали запреты убивать некоторые виды животных и птиц (ласку, лягушку, змею, аиста и др.); нарушение таких запретов грозило самыми тяжкими последствиями: смертью самого нарушителя или его близких, стихийными бедствиями и другими несчастьями; у сербов охотники должны были совершать специальные искупительные магические действия, предотвращающие губительные последствия убийства животных, даже таких хищных, как волк. Считались опасными и избегались контакты с некоторыми животными: нельзя было смотреть на домашнюю змею (сербский запрет), допустить, чтобы змея, волк, заяц перешли дорогу человеку; нельзя было пренебрегать запретами, относящимися к "звериным" праздникам и дням – волчьим, змеиным, медвежьим (особенно у южных славян). Подобные запреты касались и деревьев: многие из них, особенно "святые" (часто старые дубы) и, наоборот, "нечистые" (орех, бузина, боярышник и др.) нельзя было срубать и даже рубить их ветки, надрубать ствол; некоторые деревья запрещалось сажать возле дома (у сербов часто орех); не разрешалось вносить в дом и жечь в печи дерево, сожженное молнией; на плодовое дерево нельзя было влезать женщине во время месячных; лицо, занимающееся прививкой деревьев, не должно было подходить к покойнику и т.п.

Большое число запретов относится к изготовлению и использованию бытовых предметов, особенно орудий ткачества. К веретену, берду, нитам и другим частям ткацкого станка в определенные дни и праздники не только было запрещено прикасаться, но даже видеть их и говорить о них; строгие запреты соблюдались при передаче их другим людям; подобные запреты касались подойника, цедилки и других "молочных" предметов. В некоторые праздники, поминальные и другие (например, "волчьи") дни запрещалось пользоваться острыми, колющими и режущими орудиями, такими как нож, топор, вилы, ножницы, игла и т.п., чтобы не навредить душам предков и магически защитить скот от волчьих зубов. Осторожного обращения требовали и другие предметы обихода, по отношению к которым соблюдались разнообразные запреты: это веник, сито, решето, вальки для стирки белья, печная утварь и др.

Подробно разработанная система запретов касалась еды, особенно хлеба и некоторых обрядовых блюд. Ср. запрет класть хлеб верхней коркой вниз, резать непочатую буханку после захода солнца, доедать чужой кусок, ронять крошки на пол и т.п.

Особые запреты соблюдались при уничтожении вышедших из употребления старых бытовых (ложка, веник, изношенная обувь и т.д.) и ритуальных (икона, вербовые ветки, венки, лечебные травы и т.п.) предметов; многие из них нельзя было выбрас-

сывать, некоторые нельзя было сжигать, а нужно было закапывать в землю, пускать по воде и т.п.

В определенных ситуациях могли подвергаться запрету самые привычные повседневные и необходимые для существия, такие как есть, пить, смотреть, говорить, мыться, расчесывать волосы, топить печь, готовить пищу, ходить по воду, спать, вступать в половые контакты и т.д. Однако существуют, по народным представлениям, особенно опасные действия (к ним относятся кручение, витье, завязывание узлов, плетение, шитье, прядение и т.п.), которые даже вне сакрального и "нечистого" времени обставлены множеством запретов. Мифологически осмысливаются, считаются опасными и в известных случаях запрещаются также побелка хаты и печи, метение, волочение по земле, измерение (например, роста человека), пересчитывание (голов скота, летящих птиц и т.д.) и др.

**Языковые запреты** ("табу слов") могли быть полными и частичными. Полным запретом на говорение, используемым как магическое средство сакрализации многих обрядовых действий, является молчание. В защитных целях могли подвергаться запретам многие речевые акты: в определенных ситуациях запрещено здороваться (например, при севе; в доме, где находится покойник и др.), отвечать на приветствие, вообще "отзываться", благодарить (например, захарку после сеанса заговаривания). Сильным запретам подвержена брань и проклятия (особенно адресованные детям). В некоторые дни, праздники запрещалось упоминать волка, змей, демонологических персонажей (прежде всего черта). Многими запретами окружено употребление личных имен: настоящего, полученного при крещении имени ребенка до определенного, иногда весьма большого, срока, особенно в семье, где "не держатся" дети; у южных славян часто жена вообще не имела права произносить личного имени мужа и его родственников.

В основе запретов, составляющих общий фонд славянских верований, зачастую лежат одни и те же механизмы, логические схемы, ассоциации и символические сближения, раскрываемые вмотивиках. К универсальным механизмам такого рода относятся магическое уподобление (культурная метафора) и этимологическая (вербальная) магия. Следует различать, однако, мотивировки, предлагаемые носителями традиции (они могут и отсутствовать или заменяться предписаниями), и мотивировки, "реконструируемые" исследователями и вскрывающие характерную для народных верований символическую или магическую связь между явлениями и реалиями жизни.

**Несоблюдение запретов** влечет за собой, по народным представлениям, наказание для нарушителя и для всего социума, иногда оно даже может вызывать и стихийные бедствия (например, умерщвление и погребение в земле незаконорожденного ребенка может вызвать град, непрекращающийся дождь; "нечестность" невесты может пагубно отразиться на скоте и т.п.). Чтобы этого избежать, в случае несоблюдения запрета нередко принимают превентивные искупительные меры, прибегают к жертвоприношению или обману. По сербским обычаям, кары за нарушение запрета рубить священное дерево можно избежать, если на пне, оставшемся от него, обезглавить курицу тем же топором, каким было срублено дерево. В вятском обряде "троецыплятница", где запрещено было участвовать мужчинам, в случае, когда мужчина допускался, ему повязывали бабий платок, символически превращая его в женщину, или завязывали глаза, что означало, что он отсутствует. В Полесье нарушившие запрет на прядение, шитье или мотание ниток в святки, могли предупредить опасные последствия, совершив специальный обряд "расскания веника", которым символически уничтожались все незаконные и греховные действия. Наконец, при наступлении неблагоприятных последствий сельское общество могло само применить санкции к нарушителям, например, в случае засухи ломали и обливали водой заборы, поставленные, вопреки запрету, до Благовещения, вырывали из земли труп самоубийцы и бросали его в воду или поливали его могилу водой и т.п.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929; Ч. 2. Запреты в домашней жизни. Л., 1930.
2. Владимирская Н.Г. Материалы к описанию полесских народных представлений, связанных с ткачеством // Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования. М., 1983. С. 225–245.
3. Дзенденлевский И.А. Запреты в практике карпатских овцеводов // Славянский и балканский фольклор: Этногенетическая общность и типологические параллели. М., 1984. С. 256–276.
4. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
5. Bandić D. Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd, 1980.
6. Wasilewski J.S. Tabu a paradygmaty etnologii. Warszawa, 1989.

© 1997 г. ВИНОГРАДОВА Л.Н., канд. филол. наук,  
ТОЛСТАЯ С.М., д-р филол. наук

*ДАР*, да р и ть – один из универсальных способов регулирования отношений внутри социума (реже между человеком, потусторонними силами и миром природы); передача некоего предмета от одного лица к другому, а также сам этот предмет (литературу о даре см.: [1]). Дар заключает в себе представление о б л а г е и добр e и в известном смысле является материализацией этого блага. Среди разнообразных ф о р м дарения выделяются обмен и дар а м и (т.е. дарение в обмен на дар или на иные виды ценностей и услуг: работу, похвалу, благопожелание, помощь,ср. серб. *дар* и *уздарје* ‘ответный подарок’, рус. *дар* и *отдарок*), раздача (разделение) некоторых предметов, пищи между многими людьми, также потенциально в обмен на некие услуги или обязательства со стороны принимающего (материальные, моральные) и собственно передача дара адресату. С функционально-семантической точки зрения дар может получать з на ч е н и е жертвы, вознаграждения (угождения, платы или выкупа), может быть магическим средством умножения благосостояния и знаком определенного отношения к адресату (ср. укр. *подарить гарбуза* ‘отказать в сватовстве’).

Основной предмет дара у славян – хлеб (зерно, мука, хлебные изделия), воплощающий богатство, жизненную силу и долю и в свою очередь представляющий собой “Божий дар”, ср. в.-слав. “хлеб – дар Божий”, чеш. *Boží dar* ‘хлеб’, *Boží dárky* ‘пасхальное фигурное печенье’. К числу других предметов дарения принадлежат скот, домашняя птица, полотно, одежда, посуда, мед, молочные продукты. Особое место среди традиционных даров занимают деньги, заменяющие другие предметы дарения или существующие с ними.

Наиболее широкий круг ритуализованных контекстов дара связывает его с мифо-поэтическим концептом доли, а само дарение становится способом наделения человека долей. Сама судьба мыслится как нечто, данное человеку Богом, ср. Бог судьбу дает (*дарит, наделяет*), или полученное от родителей, ср. в свадебном притчании: “Ты скажи, скажи, моя матушка родная. Ты каким меня и счастием наделила?”. Дарение как ритуальная форма чаще встречается в семейных обрядах: родинно-крестинном, свадебном и похоронном. Среди иных сфер функционирований дара отметим обходные обряды, Пасху и Юрьев день, а также многие окказиональные и этикетно-бытовые ситуации.

Для традиционной культуры характерно принципиальное не различение понятий “д а р и ть” и “д а в а ть”, ср. рус. *дары давать* ‘подавать милостию’, болг. *подавки* ‘хлебы, предназначенные для одаривания родственников и знакомых в Юрьев

день', рус. платки давать 'дарить жениху платок после рукобитья', *Даруй, Господи и Дай*, Господи как взаимозаменяемые начальные формулы заговоров и молитв. Однако в отличие от отдавания чего-либо из дома (в том числе давания взаймы) дар воспринимается не как потеря, а скорее как залог будущей прибыли. Поэтому у славян практически отсутствуют запреты дарить что-либо в наиболее ответственные праздники семейного или календарного цикла или хозяйственного года (Сочельник, родины, свадьбы, похороны, день первого удоя, улова), столь актуальные для одолживания.

В мифopoэтическом аспекте дарение коррелирует с идеями *приумножения*, ср. в пол. *darzyć się* 'умножаться, плодиться', чеш. *dařiti se* 'родиться, расти', а также 'ладиться, удаваться', и является магическим способом обеспечения прибыли и богатства. На Витебщине кумовья, возвращающиеся после крестин из церкви, по дороге обменивались символическими подарками, чтобы и их крестнику в течение жизни *подарунки шили*. В подобных случаях дар резко противопоставлен реальному обмену ценностями (аналогичному ситуации "дар–плата"). В Заонежье полагали, что если после продажи скота перестал вестись, значит, покупатель похитил навоз, а с ним и "счастье" скота. Избавление от этого могло принести только "безвыкупное" (*от всего сердца*) дарение кем-либо из родственников хотя бы одной овцы.

С идеей приумножения обычно связывается обязательное дарение кому-нибудь первых плодов или плодов (фруктов, молока, овощей, зерна, меда и др.). Повсеместно считалось, что торговые операции могут отрицательно сказаться на пчелах и производстве меда, поэтому мед (особенно первый), а также первый рой предпочитали дать кому-нибудь в надежде, что пчелы будут роиться и принесут много меда. Успех будущего и всех следующих урожаев (приплодов и др.) зачастую ставился в зависимость от адресата дарения. Вот почему, например, первые фрукты с плодовых деревьев дарили многодетной матери или беременной женщине, но никогда – старухе или бездетной.

Однако чаще дарение первых плодов и пр. приобретало в обрядах характер же ритуалов. Их предназначали – церкви и священнослужителям: например, в Силезских Бескидах первое надоенное весной у овец молоко отдавали ксендзу; посторонним: в южной Болгарии первый кусок курбана отдавали путнику, проходившему через село; а также нищим: в Заонежье по возвращении с первого лова рыбак одаривал "одиноких и убогих, чтобы впредь ловилась рыба" [2]. Обычай одаривания первыми плодами нищих, гостей и посторонних в славянской обрядности соотносится с представлениями о странствующем боже-путнике и обратимости дара.

Дар как жертва занимает особое место в кругу отношений человека с душами и миром природы. Особенно популярным у славян было "одаривание воды", практикуемое в оздоровительных, профилактических, апотропейических целях. Чехи кидали в колодец остатки рождественского ужина, говоря: "Studničko, nesu ti štědrého večera, aby s nám dobrou vodu daval" [3], ср. бел. заговор "Крынічка Магдалина (...) дарую я цябе хлебам і соллю, надары рабую кароўку добрым здароўем, жоўтым маслам, белым сырам" [4]. У старообрядцев Верхокамья сохранился обычай *дарить речку*, т.е. бросать в нее нитку при начале ледохода. На русском северо-востоке на третий день свадьбы молодые *дарили воду* – бросали в колодец хлеб, чтобы вода с любовью приняла нового члена семьи. Дар – одна из форм общения с демоническими существами, рассчитанная на получение чего-либо взамен подарка, ср. в заговоре: "Криксы, криксы, дарую я вас хлебом-солью... даруйца мойго дзицяци добрым здоровьем и сном" [5].

Особое место среди жертв занимают дары, приносимые в церковь, а также к различным культовым местам. В России было популярно одаривание Параскевы Пятницы нитками и шерстью. Женщины, приносящие эти дары, сопровождали их пожеланиями: "Угоднице на чулочки!", "Матушке-Пятнице на передничек!". В Словении дети, первый раз пришедшие в церковь в Страстную пятницу к "божьему

гробу", приносили монету и клали ее перед крестом, сыпали пшеницу на гроб Господен, ставили к алтарю масло. Большой известностью пользовался обычай возлагать дары (в виде одежды, полотенец, пищи, денег) к почитаемым деревьям, в рощи, к камням, источникам.

Во множестве бытовых, этикетных, и ритуальных ситуаций дар становился з на-  
к о м установления определенных от но ш е н и й между дарителем и реципиентом, в результате чего каждый из партнеров приобретал новую для себя социальную роль, статус. Обмен подарками составлял существо народного обычая кумления, ср. взаимное одаривание девушек на Троицу кольцами или платками, обмен тельными крестами при установлении побратимства. У западных славян, хорватов и словенцев крашеные яйца на Пасху выступали в функции любовного знака: даря их друг другу, девушка и парень тем самым выражали взаимную симпатию, а неприятие такого подарка расценивалось как отказ в чувстве. На крестины и на свадьбу повсеместно принято было приглашать гостей, приподнося им хлеб, полотенце, яблоки, носки, платки, ср. серб. *зовати јабуком, зовати колачем*.

Дарение как один из видов о п л а т ы фигурирует во всех семейных, календарных и окказиональных обрядах. Жницы, участвующие в толоке, по окончании работы получают не только угощение или прямую оплату, но и нередко специальные подарки (вязаные чулки, полотенце, хлеб). Одаривание/вознаграждение колядников является структурообразующим элементом календарного обряда, развивающимся в отдельный его эпизод: хозяева (хорошо или плохо) одаривают колядников, посетивших их дома, в ответ на что колядники произносят в адрес хозяев благопожелания или проклятия. Подобным способом одариваются и исполнители разнообразных магических операций. У македонцев в Сочельник отец по очереди посыпал детей к очагу посмотреть, не прогорел ли бадняк, за что одаривал их сладостями, фруктами и деньгами. На Пинщине *подарить слепца* означало дать пасхальное яйцо слепцу, читающему на кладбище молитвы в Навский четверг. Аналогичный характер имеет и вознаграждение священнослужителей. В Штирии перед Пасхой священник сам обходил дома прихожан и благословлял пасхальные кушания, получая в дар еду и деньги.

Одной из наиболее известных форм дарения была р а з д а ч а продуктов, пищи или каких-нибудь предметов между многими, также восходящая, вероятно, к концепту Доли. Идея приобщения каждого к общей доле и представление о возможности ее перераспределения между членами социума, выраженное в форме дарения каждому части того, что принадлежит всем, буквально пронизывают семейную обрядность, а также вычитывается из некоторых к а л е н д а р н ы х ритуалов. Среди последних особенно заметны пасхальные обычаи, имеющие отчетливые новозаветные аллюзии: делить скромную пищу за завтраком во время разговления; разрезать одно яйцо на части по числу членов семьи; "молить пасху", т.е. наделять в церкви всех прихожан кусочками доры в Фомино воскресенье; обмениваться подарками при хождении в гости в течение всей пасхальной недели; разносить на Пасху еду в дар соседям. У южных славян был широко известен обычай "преломления" обрядового хлеба (калача и др.) во время некоторых календарных праздников (особенно часто в Сочельник, Юрьев день и на "славу") и последующего наделения кусками этого хлеба всех присутствующих, причем полученный человеком кусок представлял собой своего рода овеществленную долю. Так, у болгар окр. Лозенградско кукуры во время обхода села разламывали лепешку с запеченой внутрь старой монетой и одаривали всех кусками; по этим кускам предсказывали хозяйствственные успехи. Если кусок с монетой доставался землемельцу, то ожидали хорошего урожая; если овчару – много молока и шерсти, если ремесленнику – рассчитывали, что будет удачно продаваться посуда.

Важным аспектом ритуалов, связанных с раздачей, является приобщение к доле тех, кто отстранен от нее вообще или в данный момент жизни. У македонцев на кануне "славы" хозяйка варила коливо и посыпала его вместе с просфорами своим ближайшим друзьям и родственникам, которые не праздновали "славу" в этот день.

Своеобразная раздача подарков, адресованных главным образом детям, широко практиковалась в цикле зимних и пасхальных праздников преимущественно на западе славянского мира. Среди зимних обычаем наиболее заметны подарки "от св. Николая", который якобы кладет детям подарки в выставленную на окно или на другое видное место обувь. Эти подарки состояли, как правило, из сладостей, сушеных фруктов или из прутиков, символизирующих розги, если ребенок в течение года плохо вел себя. Подарки подкладывали сами матери или обходники, посещающие дома в advent. Святочные подарки приносил Божич (словен.), "гвядзка" (дружина обходников, пол.), "куляши" 'черти' (вологод.), Христос (словац.) и др. Рождественские и новогодние подарки часто помещали под рождественским деревцем. Пасхальные подарки для детей (в виде сладких пряников, конфет и пасхальных яиц), также популярные на западе, выкладывались родителями на свежую зелень, специально пророщенную детьми в маленьких коробочках, или же прямо на землю, в саду или на поле. Обычно детям объясняли, что эти подарки принес зайчик (пол.), жаворонок (чеш., морав.). От животных (зайчика, лисички и др.) исходили якобы и небольшие подарки, которые родители приносили домой детям, вернувшись откуда-то со стороны: с поля по завершении жатвенных работ (это могли быть остатки хлеба), из города, с промыслов, и т.д.

Однако чаще раздача даров (пищи прежде всего) имела место в комплексе поминания умерших обрядов (сороковин и календарных), связанных с приобщением к доле умерших, с передачей им того, чем они обделены на "том" свете, а также с символическим объединением социума перед лицом постигшей его утраты. По болгарским поверьям (Самоковско), в раю перед каждой душой стоит стол, на котором лежит все то, что умерший дарил другим при жизни, и то, что подали его близкие в память о нем. Аналогичные представления известны всем славянским народам: "Ежели я даю нищему, дак я як умре, мой стол не буде голый на том свете. Бог так скажы: як ты давал, так и тебе дать" [6]. Поминальное угощение нищих и посторонних – способ обеспечить душе умершего место в царстве небесном. Гуцулы, например, в троицкую субботу одаривают на могилах бедняков, говоря: «"Най Бог прийме перед душі моїго тата (имя), мами...!" (...) "Перед душі" представляют собі гуцули так, що того усе, чим обдарували других, стоять там у небі перед Господом Богом, а за тим душа того, за чию подали» [7].

Широко распространен обычай раздавать во время поминок коливо или дару (воспринимаемых как дар по усопшему), хлеб и кашу – *za dusze zmarłych* (пол.), а во время похорон – милостыню: "дары" на помин души с тем, чтобы каждый принявший ее взял на себя часть грехов умершего или молился за последнего (рус.). В Македонии весной на могилах раздавали цветы, хранимые затем у икон. У южных славян во время ранневесенних праздников у церквей раздавали маленькие хлебцы на помин умерших, а в Юрьев день – молоко и ягнятину.

Семейные обряды – родинно-крестинный, свадебный и похоронный – реализуют, как правило, не одно, а несколько значений и функций дара, впрочем, в каждом случае достаточно четко дифференцируемых.

Во время похорон, предназначенный умершему, связан с представлениями о его посмертном существовании. Вещи, продукты и деньги помещают в гроб, вешают на дерево, посаженное на могиле, или кладут сначала рядом с гробом, а затем убирают и раздают нищим, детям (если это фрукты и сладости). Вещи покойного раздавали/дарили его друзьям и родственникам, а также всем, кто присутствовал на похоронах; делали это в память об усопшем, а также с целью возложить на принявшего подарок моральную обязанность поминать умершего. Подарки для пришедших на похороны иногда готовили заранее. В Приуралье на похоронах женщины раздавали подшальники или ткань на фартуки, а на похоронах мужчины – носовые платки или ткань на рубашку. Особый подарок полагался человеку, первым встретившему на дороге похоронную процессию.

Среди старообрядческого населения имел хождение обычай "тайной милостыни",

когда родные покойника, желая, чтобы он был помянут кем-либо, незаметно относили еду односельчанам или оставляли на пороге. Это могли делать после похорон, в календарные поминальные дни или по случаю: если, например, кому-нибудь из домочадцев снился умерший. На похоронах принято было вознаграждать подарками (а не деньгами) тех, кто принимал участие в обряжении и обмывании покойника, копал могилу, делал гроб, читал над ним по ночам молитвы, пел псалмы и т.д. Им отдавали одежду покойного: рубаху, платок, белье, штаны, реже зерно, хлеб, вино; им же переходили вещи, бывшие в соприкосновении с покойным и предназначенные для удаления из дома во избежание контактов с умершим: например, полотно, из которого были сделаны погребальные носилки (рус.), полотенца, которым был обвязан крест, полотно, которым выстилали дорогу перед гробом (з.-укр.). Эта практика получала разнообразные символические толкования: владимирский обычай *дарить одёжу* объясняли тем, что якобы "покойник забывает там", и, чтобы он не мерз, кто-то должен носить его одежду [8]. В Пермском крае одежду покойника складывали в специальную котомку и отдавали обмывальщице, а затем падали ей в ноги и, обращаясь к ней как к умершему, причитали: "Прощается с тобой твое дитятко (мама, тята и т.д.)" [9].

В комплексе род и н и о -к р е с т и н ы х обрядов актуализировались смыслы, связанные, во-первых, с наречием и наделением новорожденного долей и судьбой, а, во-вторых, с его социализацией, установлением отношений с окружающими. Сама доля нередко воспринималась как дар – либо со стороны божеств судьбы типа орисниц, либо непосредственно от Бога, ср. общераспространенную практику с охотой идти в крестные к байструку, поскольку якобы не только он сам получает счастье от Бога, но и дарит это счастье и долю своим крестным родителям. Поскольку сам новорожденный не способен участвовать в обрядах, их субъектами и объектами оказываются его мать и отец, повитуха, крестные родители, а также соседи, родственники. Во время всех обрядовых эпизодов родинно-крестинного комплекса имеет место одаривание новорожденного, часто в лице его родителей. Одаривание начинается с первых визитов к роженице ее родственниц и соседей и продолжается вплоть до крестин, когда любой пришедший проведать роженицу с новорожденным обязан "подарить ребенка" чем-либо (хлебом, зерном, пирогом, калачом, деньгами, молочными продуктами, ложкой, рубашкой, носочками, мясом, квасом, тканью и др.), ср. название таких ритуальных визитов: рус. *принести на зубок*, *принести на кашу*, морав. *do vinka*, *do podušky*, *na košelku*. Того, кто не принес подарка, наказывали, например, забрасывали его шапку за печь, а лицо чернили сажей (серб.). Существовали некоторые правила обращения с даром, предназначенным новорожденному, от соблюдения которых зависела его судьба и здоровье: еду роженица должна съесть быстро и с охотой, чтобы ребенок хорошо ел (рус.) и впоследствии начал бы делать все, чему его учили, быстро и умело (бел.). Ленту, которую новорожденный получил от крестных родителей, мать сохраняла весь первый год его жизни, чтобы у нее было много молока, а ребенок хорошо рос (серб.). В обрядах родинно-крестинного комплекса происходил постоянный обмен подарками между родителями новорожденного и крестными, а также родственниками и знакомыми; между родителями и гостями на крестинах или при первом пострижении волос и т.д. Таким способом ребенок включался в систему отношений – с родственниками, соседями, что было первым этапом его социальной адаптации.

В той же группе обрядов дарение выступает и как форма оплаты за услуги повитухи, которой давали хлеб, зерно, ткань, рубаху, полотенца, мыло. Одаривание повитухи продолжается и позже: в первую годовщину ребенка мать приносит ей хлеб и материю на одежду, а затем каждый год в определенный день матери вместе с детьми, которых она "бабила", навешивают и одаривают ее.

Наиболее сложной и многоступенчатой представляется система дарообмена в славянском свадебном обряде, в котором выделяются, во-первых, обмен дарами между всеми участвующими в свадьбе сторонами и лицами, и, во-вторых, одаривание новобрачных.

Стороны жениха и невесты постоянно обмениваются подарками, что является способом преодоления исходного отчуждения и враждебности между родами невесты и жениха и установления родства. Обмен между семьями ведется как в течение всего предсвадебного периода, так и на свадьбе и даже по ее завершении. В обл. Фрушка Гора при сватовстве отец, обращаясь к дочери, говорит: "Ајдете, децо, ако сте по вольи једно другом, даривајте се". Если девушка согласна, она дарит жениху сумку или рубашку, а он ей деньги, после чего они отправляются на исповедь в церковь и там вновь обмениваются: это называется *обновити дар* [10]. Во время предсвадебных церемоний невеста одаривала родителей жениха (например, при входе в дом жениха) и его самого, а жених – невесту, ее родителей, дружку, а также подруг невесты: он посыпал угощения и сладости на девичник, одаривал девушек после исполнения величальных песен молодым. Сама невеста одаривала своих подруг: после приготовления приданого, после бани, после ее наряжения к венцу. Не менее активными участниками обмена дарами были родители жениха и невесты: мать невесты несколько раз одаривала жениха, а свекровь – невестку, особенно при появлении той в доме мужа (чтобы молодые богаче жили). Подарки, которыми обменивались стороны на свадьбе, нередко имели специальный смысл. В окр. Ниша после сворога жених дарил теще *дремнину* – дар в виде денег и продуктов за то, "что се мучила – дремала, док је ћерку чувала" [11]. Если после свадьбы выяснялось, что невеста нечестная, жених привозил теще в дар разорванный платок (рус.).

Одаривание же самих молодоженов имеет место преимущественно на свадебном пиру, т.е. совершается тогда, когда обе стороны пришли к согласию и когда жених и невеста представляют уже не два отдельных рода (семьи), а самостоятельную социальную единицу. Каждый дар, преподносимый молодоженам, имеет не просто материальную ценность, он сопровождается произнесением благопожелания, раскрывающим его смысл, а также становится символом связей новой семьи с социумом, знаком богатства, престижа. Именно поэтому отношение к свадебным подаркам было бережным: их сохраняли в течение всей жизни, передавали по наследству сыну или дочери.

Иногда одаривание молодоженов начинается с того, что невеста обращается к отцу и всем родственникам с просьбой одарить (*наделить*) их: "Радительница, рбнная матушка, кармилиць рбнныи батюшкa, падыйдити к дубову столику, к убранай скатерти, *надялити мяне, младёшыньку, на Божай путь пайти, щастья атведать!*" [12. С. 441]. После этого молодых одаривают родители, затем родственники жениха и невесты, а потом гости. При этом гостей угощают куском каравая или калача (ср. морав *dařiti do kolače*, з.-рус. *дарить на каравай*) или водкой, в обмен на что они дают подарок или объявляют о нем. В Белоруссии, выпивая рюмку, гость говорил: "Напибаю вам авечку! Приижжайта и выбирайта!" [12. С. 391].

Дары молодоженам продолжались и после свадьбы, обычно в течение первого года. У русских на масленицу молодым дарили посуду, окончательно "отвязывая" их от родителей. В Поволжье отец и мать посещали вышедшую замуж дочь в Петров день, привозя ей специально сделанные вилы и грабли – для первого покоса в новой семье. В Шумадии родители посещали молодоженов в день Сорока мучеников, называемый *Младенци*, и носили им *поновак* – дар, состоящий из овцы с ягненком, а также посуды. Во многих ю.-слав. традициях посещение и одаривание молодоженов приурочено к Юрьеву дню. На свадьбе положено было подносить подарки гостям. Эти подарки (платки, рубахи, носки и иные предметы одежды) невеста готовила вместе с подругами (называемыми, например, у поморов *даровщицами*) накануне свадьбы.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов В.В. Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен // Славянское и балканское языкознание. М., 1975. С. 50–78; Рикман Э.А. Место даров и жертв в календарной обрядности // Календарные обычай и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М., 1993. С. 173–182; Fijak Z. Analiza systemy wymiany darów we wsi Odrowaz na Podhalu // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne. 1981. Т. 14. S. 45–57; Maj M. Rola daru w obrzędzie weselnym. Wrocław, 1986; Kulturowa funkcja daru. Kraków, 1988.
2. Логинов К.К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья. СПб., 1993. С. 41.
3. Vykoukal F. Rok v starodávných slavnostech našeho lidu. Praha, 1901. S. 16.
4. Замовы. Мінск, 1992. № 194.
5. Романов Е.Р. Белорусский сборник. Витебск, 1891. Вып. 5. С. 32.
6. Полесский архив Института славяноведения и балканистики РАН. Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл.
7. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4. // Матеріали до українсько-руської етнольгії. Львів, 1904. Т. 7. С. 251.
8. Этнографическое обозрение. 1914, №№ 3–4. С. 93.
9. На путях из земли Пермской в Сибирь. М., 1989. С. 304.
10. Шкарић M. Живот и обичаји "планинаца" под Фрушком Гором // Српски етнографски зборник. 1939. Књ. 54. С. 104.
11. Гласник етнографског музеја у Београду. 1936. Књ. 11. С. 163.
12. Романов Е.Р. Белорусский сборник. Вильна, 1912. Вып. 8.

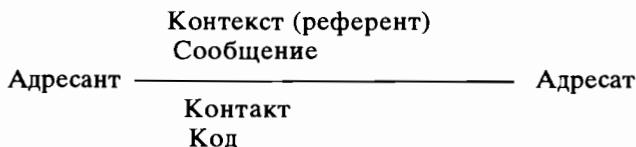
© 1997 г. АГАПКИНА Т.А., канд. филол. наук



© 1997 г. НОРМАН Б.Ю.

## О КРЕАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)<sup>1</sup>

Одна из наиболее продуктивных и часто эксплуатируемых идей Романа Якобсона – классификация языковых функций, опирающаяся на принципиальную структуру коммуникативного акта и развивающая идеи Клода Шеннона. В статье [1. С. 203] Р. Якобсон предложил следующую схему, отражающую основные компоненты коммуникативного акта:



Каждый из этих компонентов создает основание для "своей", особой функции языка. Контекст, или соотнесенность с действительностью, есть основание для референтивной (денотативной, когнитивной) функции. "Направленность на сообщение как таковое, сосредоточение внимания на сообщении ради него самого – это поэтическая функция языка" [1. С. 202]. Если цель конкретного речевого акта заключается в налаживании контакта, то язык выступает в фатической функции. Разъяснение кода (т.е. используемого языка) – это метаязыковая функция. С адресантом (отправителем сообщения) связана экспрессивная, или эмотивная, функция. Направленность на адресата создает основание для конативной (по-другому, апеллятивной, призывающе-побудительной) функции.

При всей изящности данной схемы трудно не заметить ее уязвимых мест. По существу исчезла, растворилась среди своих соседей важнейшая – коммуникативная – функция языка. Выпадает из поля зрения и консолидирующая роль средства общения в масштабах целого социума. В одном ряду, как равноположенные, трактуются, к примеру, референтивная и метаязыковая функции. Осуществление экспрессивной функции связывается исключительно с отправителем сообщения, хотя понятно, что экспрессия имеет и свой внешний объект – получателя текста. Поэтому неудивительно, что в позднейших работах исследователи стремились не только истолковать концепцию Якобсона, но и "подправить" ее, в частности, добавляя к данному ряду еще некоторые общественно значимые применения языка. Так, оказалось

Норман Борис Юстинович – д-р филол. наук, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета (Минск).

<sup>1</sup> В основе статьи лежит доклад, прочитанный в мае 1996 г. на Третьих софийских славистических чтениях "Лингвистика и поэтика".

необходимым добавить коммуникативную и этническую (консолидирующую) функции. Конативная функция развинула свои границы до регулятивной – и послужила основой для целой теории речевых актов. Некоторые авторы настаивают также на разделении функций языка и функций речи и т.д. (см. в частности: [2. С. 134–138; 3. С. 5–30; 4. С. 14–26] и др.).

Не вдаваясь специально в эту проблематику, мы хотели бы в данном случае привлечь внимание еще к одной – маргинальной и парадоксальной – функции языка. Р. Якобсон ее специально никак не называет (и не включает в свой "канонический" перечень), однако не раз возвращается к ней в своих работах [5. С. 366; 6. С. 37]. Речь идет о положении дел, при котором языковые сущности оказываются первичными по отношению к существам внеязыковым, т.е. к явлениям объективной действительности. Назовем данную функцию языка – *креативной*, или творческой. Ситуация эта действительно может быть охарактеризована как парадоксальная (если не усматривать в ней метафизической сущности): может ли язык не просто влиять на восприятие действительности, но и порождать саму эту действительность? Не очередная ли это вариация на тему извечного "В начале было Слово"?

Тем не менее, такая ситуация имеет место. И классический ее пример, который, собственно, и разрабатывает Р. Якобсон, – это категория рода в ее отношении к биологическому полу. Вообще категория рода, как известно, оторвалась от своей биологической основы (хотя, заметим, в разных славянских языках – в разной мере). У существительных и местоимений она выступает как категория классификационная, а у прилагательных и причастий – как словоизменительная (согласовательная). В любом случае, однако, она приобретает статус подсистемы внутриязыковой и в этом смысле условной. Свидетельством тому служит не только формальный характер распределения по родам неодушевленных существительных (ср. в русском языке: *река, озеро, ручей...*), но и наличие существительных так называемого общего рода (типа русского *врач, балда* и т.п.), существительных, у которых категория рода вовсе отсутствует (*ножницы, сани* и т.п.), а также существительных, у которых допускаются известные колебания в роде (*домишко, кофе, тюль* и т.п.). Языковые ценности подчиняются своим закономерностям, начинают жить по собственным правилам.

Приведем вначале в качестве примера любопытный казус. В свое время у автора данной статьи вышла на русском языке научно-популярная книжка под названием "Язык: знакомый незнакомец". В журнале "Беларуская мова і літаратура ў школе" на нее появилась рецензия на белорусском языке, которая была озаглавлена "Знамая незнамка" (поскольку язык – м о в а – в белорусском языке существительное женского рода). Но еще интереснее то, что на последней стороне обложки оглавление номера было дано в русском переводе. И там рецензия называлась (по-русски!) "Знакомая незнамка". Что здесь имелось в виду? Конечно же, язык – это он стал "незнамкой". Род как бы зажил в переводе своей собственной жизнью.

Пожалуй, наиболее очевидная сфера "материализации" грамматического рода, воплощения его в пол – это изобразительное искусство, театр, кино. Р. Якобсон приводит примеры зрительной "персонификации" таких явлений, как грех или смерть. "Репина удивило то, что немецкие художники изображают грех в виде женщины; он не подумал о том, что слово *грех* в немецком языке – женского рода (die Sünde), тогда как в русском мужского. Точно так же русскому ребенку, читающему немецкие сказки в переводе, было удивительно, что смерть – явная женщина (слово, имеющее в русском языке женский грамматический род) – была изображена в виде старика (нем. der Tod – мужского рода)" [5. С. 366]. Традиции изобразительного искусства в этом смысле, действительно, самобытны и устойчивы. Скажем, сегодня в Национальном музее в Варшаве можно увидеть картину польского художника Францишка Жнурко "Прошлое грешника", на которой смерть, пришедшая по душу грешника, имеет явные черты мужчины.

Распределение ролей (на мужские и женские) в театральных и радиопостановках, мультфильмах и других произведениях искусства, в которых участвуют олицетво-

ренные предметы, непосредственно зависит от грамматического рода существительных. Здесь, в этих произведениях, действуют умывальники и утюги, чернильницы и зубные щетки, но каждый из этих предметов, получая свой сценический образ, получает вместе с ним и определенные половые признаки – голос, одежду, манеры и т.п. Род порождает пол. Скажем, в одном российском детском мультфильме про царство "Кащея бесцветного" положительными героями были братья – карандаши и сестрица – кисточка... (Кстати, по указанной выше причине в подобных произведениях редко участвуют предметы, обозначаемые существительными среднего рода: их труднее олицетворить, привязать к тому или иному полу. Заметим также, что в тех языках, в которых категория грамматического рода отсутствует, персонификация осуществляется на основе иных ассоциаций – зрительных, слуховых и т.п.).

Разумеется, в разных языках родовые значения существительных не совпадают, и это нередко приводит к недоразумениям или затруднениям при переводе, которые становятся предметом специального анализа лингвистов. В частности, Л.В. Щерба, анализируя в своей известной штудии лермонтовский перевод стихотворения Г. Гейне "Ein Fichtenbaum steht einsam..." (у Лермонтова – "На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...") показал, что немецкий поэт "создает образ мужской неудовлетворенной любви к далекой, а потому недоступной женщине. Лермонтов женским родом сосны отнял у образа всю его любовную устремленность и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты" [7. С. 98–99].

Аналогичные расхождения обнаруживаются – и нередко! – при сопоставлении фактов славянских языков. В частности, в Болгарии под Рождество появляются открытки, карикатуры, плакаты, изображающие девочку или девушку (а иногда противостояние девочки и старухи). Это зрительный образ Нового (и соответственно старого) года, по-болгарски *Нова година, стара година*, и для болгарина он не менее привычен, чем для сознания носителя русского языка образ мальчика и старика. Зрительные различия в поле (*sexus'e*) спровоцированы различиями в роде соответствующих существительных. Разумеется, упоминавшиеся уже предметы, вроде умывальника или утюга, могут получить здесь, в другом языке, – при их олицетворении – иную половую маркированность: так, умывальник по-болгарски *мивка*, существительное женского рода, утюг – *ютия*, тоже женского рода.

Множество примеров удачного и неудачного воплощения категории грамматического рода дает нам художественная литература. Герой романа Даниеля Дефо, спутник Робинзона Крузо, получил в русском переводе имя Пятница (существительное женского рода), и при всей его сегодняшней привычности вряд ли можно признать его удачным, в то время как в иных славянских языках имя данного персонажа вполне соответствует его полу, ср. болгарское *Петкан*, польское *Piątek* и т.п. В пьесе Евгения Шварца "Тень" действует персонаж Тень, грамматический род которого противоречит его полу (Тень – это двойник ученого), хотя читатель и зритель этого, кажется, уже не замечают. В конце концов у пола есть более наглядные, более материальные признаки, чем у какой-то грамматической абстракции. В одном из стихотворений Новеллы Матвеевой ("Сводники") предметы и лица объединяются в пары по принципу устойчивой смежности; условием для такого "бракосочетания" служит принадлежность существительных к разному роду:

Кухарка вышла замуж за компот,  
Взял гусеницу в жены огородник...

Однако данное правило нарушается уже в следующих строках, в которых объединяемые существительные принадлежат к одному и тому же роду (уж не демонстрируя ли свое право на однополую любовь?):

Грядущий день влюбился в прошлый год,  
А виноваты – сводница и сводник.

Можно полагать, что такой "перебив" оппозиции мешает целостному восприятию стихотворения. Впрочем, оговоримся, что, оценивая степень точности или неточности передачи грамматических оппозиций в художественном тексте, следует соблюдать чрезвычайную осторожность, с тем чтобы не преувеличить удельный вес грамматических значений в общей структуре смысла и одновременно не впасть в навязывание художнику (в том числе переводчику) конкретных способов решения эстетических задач.

Другой (кроме искусства) сферой материализации грамматического рода является система мифологических представлений народа, его верований и обычаев – то, что Р. Якобсон называет "вербальной мифологией". Процитируем: "Известная русская примета о том, что упавший нож предвещает появление мужчины, а упавшая вилка – появление женщины, определяется принадлежностью слова *нож* к мужскому, а слова *вилка* – к женскому роду..." [5. С. 366]. Действительно, грамматическое (родовое) значение слов, особенно таких ключевых для народной психологии, как *жизнь, смерть, Бог, любовь, судьба, человек, огонь, вода, день, ночь* и т.п., может оказаться неслучайным не только для формирования самих данных понятий и сопутствующих им коннотаций, но также и для следования определенным общественным ритуалам.

В частности, поверья и вытекающие из них запреты и рекомендации, касающиеся определенных дней недели, нередко соотносятся с грамматическим значением соответствующего существительного. Так, на белорусском Полесье бытует представление о том, что "середа и пьяница, и суббота, и недзяля – жэнски дни, а понедзилок, второк, чэцверг – мушчынски"; "Капусту не садзят у мушчынски дзень, эта же женска название капуста" [8. С. 162]. У польского поэта Яна Бжехвы есть стихотворение для детей "Tydzień" ("Неделя"), в котором каждому дню приписывается некоторая – шутливая и условная, основывающаяся на звучаниях, – характеристика. Однако там, где говорится, например: "Wtorek środe wziął pod brodę" ("Вторник взял среду за подбородок"), сопровождающий рисунок изображает мальчика, держащего за подбородок девочку. И такая трактовка среды выглядит, несомненно, естественнее, чем, скажем, "маскулинизация" этого дня в подобном по содержанию стихотворном цикле "Дни недели" российского поэта Якова Козловского. Там мы читаем:

А я в своем чине, –  
С казал среда, –  
Живу в середине  
Недели всегда.

Мужской пол, присваиваемый в данном тексте среде (на том основании, что это *день недели!*), вступает в явное противоречие с собственно языковыми, формально-грамматическими признаками: окончанием *-a*, свойственным существительным женского рода.

Вообще же круг родо-половых ассоциаций в сознании человека, по-видимому, значительно шире, чем это обычно представляется. В частности, Мстислав Ростропович в одном из недавних своих интервью говорил о том, что воспринимает виолончель как женщину, и высказывал в связи с этим возмущение французским языком: "Ну что это за язык, в котором виолончель – мужчина, а контрабас – женщина!" (еженедельник "Аргументы и факты", 1995, № 40). Отметим, что речь здесь идет, очевидно, не только об определенном способе восприятия окружающей действительности, но и об определенном способе поведения по отношению к этой действительности.

Именно в этом заключается решение закономерно напрашивающегося вопроса: каково отношение креативной функции языка к широко известной теории лингвистической относительности (гипотезе Сепира-Уорфа)? Ответ прост: креативная функция представляет собой максимальное проявление, крайний случай феномена линг-

вистической относительности. Если гипотеза Сепира-Уорфа объемлет разнообразные случаи влияния языка на отражение человеком объективной действительности, то креативная функция охватывает как раз те ситуации, когда язык непосредственно провоцирует поступки человека, т.е. так или иначе в идозменяет саму эту действительность. Именно тогда мы вправе говорить, что какие-то языковые ценности оказываются первичными по отношению к сущностям внеязыковым, реальным.

Не исключено, что креативная функция языка может обнаруживать себя и за пределами грамматического рода, в сфере иных грамматических категорий – например, числа (если допускать, что реальная расчлененность артефакта может быть в каких-то ситуациях спровоцирована множественным числом существительного, называющего данный артефакт).

Вообще же креативная функция языка не ограничивается своеобразным использованием грамматических категорий, но находит свое выражение, в частности, в многообразных фактах человеческого поведения, имеющих в своей основе те или иные фонетические закономерности. Во всяком случае, в сфере вербальной мифологии многие действия (ритуалы, запреты, рекомендации) мотивируются конкретными особенностями плана выражения языковых знаков. Так, болгарская поговорка "В сряда не се сяда" ("В среду не присядешь") выделяет среду из ряда остальных дней недели как будто бы на том основании, что это "самый рабочий" день недели<sup>2</sup>. На самом же деле в основе поговорки-запрета лежит бычное созвучие, рифма: *сряда – не се сяда*. Болгарская присказка "Червеното вино се пие само в ония месеци, в които (в названията на които. – Б.Н.) има буква р", т.е. "Красное вино пьют только в те месяцы, в названиях которых есть буква р", отражает не столько внеязыковую реальность, сколько внутриязыковую, случайную, в общем-то, особенность: в болгарских названиях летних месяцев – *май, юни, юли, август* – нет "буквы р", перекликающейся с *р* в слове *червено*, зато в названиях всех остальных месяцев она присутствует: *септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, април*. Аналогичная рекомендация-запрет бытует в сербском ареале. Сербы говорят: *Не сме се ловити и јести риба о них месеци у којима има слово р или Не треба јести/ловити рибу о них месеци у којима има слово р*. Здесь опять в качестве основания для запрета выступает случайная языковая черта: наличие или отсутствие в слове определенного звука. Кстати, та же самая согласная [р] оказывается в славянских языках достаточно "судьбоносной" и для названий дней недели: согласно полесской народной традиции, "свиней режут у той день, як нема буку ў ре – во второк, в середу, в четверг нельзя. Як в етые дни убьешь, то черви будуть в сале" [8. С. 163]; (там же см. дополнительный фактический материал).

Выбор имени как ситуация объективной действительности также нередко бывает обусловлен (каузирован) внутриязыковыми причинами. В качестве таковой может, в частности, выступать истинное или ложное этимологизирование. На практике это значит, что мотивированное или случайное сходство плана выражения языковых знаков не только приводит к сближению их плана содержания в сознании индивидуума, но и имеет своим следствием прямое вытеснение, замещение одного знака другим. Иллюстрация из художественного текста: "*Болтливых женщин он называл таратаиками. Плохих хозяек –rossomахами. Неверных жен – шаландами*" (С. Довлатов. Заповедник). Такой перенос значения может закрепляться, узакониваться в довольно широких общественных масштабах. Последнее мы наблюдаем, в частности, в русских жаргонных словоупотреблениях: *губа 'гауптвахта', лимон 'миллион', шпора 'шпаргалка', молоток 'молодец', фанера 'фонограмма', шеф 'шофер', шампунь 'шампанское'* и т.п. Немало подобных фактов можно обнаружить и не выходя за пределы

<sup>2</sup>По устному свидетельству проф. Стефаны Димитровой, в патриархальных болгарских семьях до сих пор сохраняется представление о среде как о "самом рабочем" дне недели и соответствующий ему способ поведения.

литературного языка. Так, не случайно в русскоязычных семьях распространено называние светловолосых девочек именем *Светлана* (ср.: *свет*, *светлый*), а темноволосых – именем *Галина* (ср.: *галка*, *галлонок*). Обобщая многообразные случаи "народного этимологирования" в славянских языках, Н.И. Толстой и С.М. Толстая в докладе на Софийском съезде славистов подчеркивали, что формальное сходство слов может порождать некоторые ритуальные действия и целые обряды: "Внеязыковая и внеtekstовая функция народной этимологии отчетливо проступает... в текстах запретов и обычаев, за которыми стоят определенные поверия или мотивированные этимологической магией действия" [9. С. 259].

Вообще ситуация наречения-именования (в том числе выбора названия для артефакта) в значительной степени обусловливается таким внутриязыковым фактором, каким является соответствие или несоответствие фонетическим нормам данного языка. Сюда входит, в частности, оценка названия с точки зрения его легкoproизносимости, благозвучия, "родности" или "иностранных" и т.п. Иллюстрацией могут служить известные примеры конкуренции наименований в славянских языках, ср. рус. *аэроплан/самолет*, *диапозитив/слайд*, *видеоролик/клип*, *пластинка/диск* и т.п., болг. *ниво/равнице*, *шише/бутилка*, *сервитор/келиннер*, *телохранител/бодигард* и др. Не подлежит сомнению, что в борьбе за существование, которую ведут данные варианты, наряду с внеязыковыми, социальными критериями, участвуют также критерии внутриязыковые, в том числе фонетические.

Возвращаясь к категории рода и ее месту в процессе языковой номинации, следовало бы отметить, что грамматическое значение рода существительного, являющегося родовым наименованием, доминирует в большинстве даваемых человеком видовых названий – так называемых номенклатурных наименований, товарных знаков, прагмонимов. К примеру, *холодильник* – в русском языке существительное мужского рода, поэтому большинство названий (марок) холодильников воспроизводит данное грамматическое значение, ср.: *Саратов*, *Минск*, *Атлант*, *ЗИЛ*, *Кристалл*, *Днепр*, *Донбасс*, *Орск* и т.п. (хотя в то же время: *Ока*, *Бирюса* и др.). *Телевизор* в русском языке – тоже мужского рода, поэтому превалируют названия типа *Темп*, *Рекорд*, *Горизонт*, *Электрон*, *Рубин*, *Садко*, *Витязь*, *Фотон* и т.п. (хотя ср.: *Весна*, *Юность* и др.). И *пылесос* – слово мужского рода, поэтому называется он *Вихрь*, *Буран*, *Тайфун* и т.п. (хотя: *Ракета* и др.). Зато *стиральная машина* – женского рода, и потому ее конкретные названия включают в себя соответствующую грамматическую сему "женскости": *Вятка*, *Ока*, *Белка*, *Малютка*, *Сибирь* и т.п.

Как следует из предшествующего материала, креативная функция языка обнаруживает себя и вербует себе "сторонников" не только в области грамматических явлений. В связи с этим стоило бы обратить внимание на развитие общественно-политической терминологии в ее отношениях с объективной действительностью. Богатый материал для такого рода наблюдений дает история строительства социализма в СССР и странах народной демократии. Ведь даже такие "образцово-социалистические" явления, как продразверстка, ГОЭЛРО, НЭП (первоначально – НЭПО), коммунистические субботники и воскресники, ударничество, спецраспределители, разоружение, перестройка и т.п., появились вначале на бумаге, как словесные конструкты. Вообще вся история утопического социализма, начиная с Т. Мора и Т. Кампанеллы, – яркое подтверждение креативной функции языка. Это, конечно, не дает оснований винить язык во всех общественных несчастьях. В то же время несомненно, что речь здесь идет не просто о возможности предсказывать, предугадывать события при помощи языка (подобно тому, как астроном Леверье "на кончике пера" открыл существовавшую задолго до того планету Нептун). Речь идет о мощной творческой силе человеческой фантазии в ее – подчеркнем – языковой форме. "Язык создает мир" – данная максима в сфере идеологии и политики проявилась в XX в. достаточно ощутимо.

Отдельного разговора заслуживает законотворческая способность языка. Разу-

меется, язык сам не создает законов, но от его возможностей – номинационных, словообразовательных, сочетательных – в значительной степени зависит то, какой будет правовая система данного общества. Достаточно вспомнить ожесточенные дискуссии о содержании терминов "частная собственность" и "личная собственность" или "организованная преступность" и "групповая преступность", которые велись в Советском Союзе в годы, предшествующие распаду социалистической системы. Вот как говорил в 1989 г. министр внутренних дел СССР, выступая на Съезде народных депутатов: «Бытует мнение, что у нас в стране нет организованной преступности. Логика такова. Любое преступление, которое совершается в стране, вполне укладывается в составы действующего Уголовного кодекса. А там понятия, диспозиции "организованная преступность" – нет. А раз нет понятия, нет и явления» ("Известия", 1989, 24 декабря). Действительно, юрист в своей практической деятельности исходит из существующего закона, а тот обусловлен структурой языка на данном этапе его развития.

Классификационное своеобразие языков обнаруживает себя и в сфере родственных отношений. Так, давно известно, что русскоязычным обозначениям некровных родственников – таких, как *теща*, *свекор*, *теща*, *свекровь*, *зять*, *шурин*, *сояк*, *деверь*, *невестка*, *золовка*, *соячница*, в английском языке соответствуют немногочисленные обобщенные наименования: *father-in-law*, *mother-in-law*, *brother-in-law*, *sister-in-law*, т.е. буквально 'отец по закону', 'мать по закону' и т.д. Это свойство обозначать родственников по браку с помощью названий кровных родственников имеет индоевропейские корни и представлено также в славянских языках [10. С. 89 и др.]. Кроме того, в некоторых славянских языках также существуют обобщенные, "объединенные" названия некровных родственников. Например, в чешском *tchán* означает 'тесть' и 'свекор', *tchyně* – 'теща' и 'свекровь', *švagr* – 'шурин, деверь, зять, сояк', *švagrová* – 'золовка, невестка, соячница'. Однако, сравнивая данную ситуацию с англоязычной, следовало бы отметить, что, возможно, именно этимологическая (словообразовательная) соотнесенность английских номинаций с терминами кровного родства (*father*, *mother* и др.) обуславливает некоторое расширительное толкование правового статуса соответствующих лиц в англоязычном законодательстве.

Уместно вспомнить также о креативной функции языка применительно к художественной литературе. Хорошо известны примеры непосредственного воздействия литературных произведений на жизнь общества. Всплески самоубийств, спровоцированные концовкой "Страданий юного Вертера" Гете, подражание в одежде и стиле жизни байроновским героям, распространение нигилизма после появления романов и повестей Тургенева и Достоевского – многочисленные подобные примеры дали основание Оскару Уайльду заявить, вполне в духе его излюбленных парадоксов, что "Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за Жизнью" [11. С. 233]. Из совсем уж свежих примеров приведем только один. Андрей Вознесенский в своем предисловии к сборнику "Доктор Живаго" Бориса Пастернака (М. 1990) вспоминает, что этот роман порождал жизнь. «Политики шли в крестовые походы за и против романа. Появились дубленки, называемые "стиль Живаго" ...» (С. 5). Примеры такого рода свидетельствуют о том, что влияние языковых ценностей на систему ценностей объективной действительности носит весьма разнообразный характер и может иметь вполне конкретные, материальные результаты.

Но если максимально раздвинуть рамки рассматриваемого нами явления, то следует признать: креативная функция – лишь частное (хотя и весьма специфическое) воплощение того феномена, который можно назвать относительной независимостью языка от мира. Проявления этого феномена многолики. Он охватывает, в частности, своеобразие языковых классификаций (укладывающееся в уже упомянутую гипотезу Сепира-Уорфа), имманентность языковой каузации (т.е. характер установления причинно-следственных отношений между явлениями действительности), особенности языковой номинации (т.е. различные аспекты связи названия с его денотатом, включая сюда мотивированность/немотивированность имени,

удачность/неудачность его в глазах общества, табуирование и эвфемизацию и др.) и т.п. Креативная функция языка – лишь крайний случай в этом ряду, однако случай чрезвычайно интересный и показательный не только для языковеда. Все это и дает нам право закончить данную статью строками современного поэта А. Кушнера, как нельзя более, на наш взгляд, подходящими к рассматриваемой теме:

Что однажды блеснуло в чернилах,  
То осталось навеки в крови.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". Сборник статей. М., 1975.
2. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика (теория и проблемы). М., 1976.
3. Михневич А.Е. Языковые потребности человека и общества (к постановке проблемы) // Русский язык. Межведомственный сборник. Вып. 5. Минск, 1985.
4. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М., 1996.
5. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.
6. Якобсон Р. Основа славянского сравнительного литературоведения // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
7. Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. II. "Сосна" Лермонтова в сравнении с ее немецким прототипом // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
8. Толстая С.М. К соотношению христианского и народного календаря у славян: счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
9. Толстой Н.И., Толстая С.М. Народная этимология и структура славянского ритуального текста // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
10. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
11. Уайлд О. Упадок лжи // Уайлд О. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1993.



© 1997 г. ВЕНЕДИКТОВ Г.К.

## К ОЦЕНКЕ СЛОВОТВОРЧЕСКИХ ЗАСЛУГ СОЗДАТЕЛЯ НОВЫХ БОЛГАРСКИХ СЛОВ

В числе деятелей болгарской культуры, вклад которых в лексику функционирующего ныне литературного болгарского языка неизменно находится в поле зрения многих исследователей, выдающийся филолог акад. Александр Теодоров-Балан, известный более под второй частью своей фамилии как А. Балан (в печати иногда и как А.Т.-Балан), занимает особое место. Прожив почти сто лет (15 X 1859–12 II 1959), он оставил большой след в истории филологической науки в своей стране. В широких кругах общественности А. Балан прослыл прежде всего как неутомимый борец за чистоту родного языка, на протяжении целого ряда десятилетий выступавший решительно против его засорения многочисленными иностранными словами, как создатель большого числа новых слов, которыми он обогатил родной язык.

Как и другие пуристы – радетели чистоты родного языка в Болгарии – А. Балан в своей пуристической и словотворческой деятельности не избежал крайностей, за что нередко подвергался острой, нeliцеприятной и часто не обоснованной критике и осмеянию. Несмотря на это он остался доволен конечными результатами своей деятельности, испытывая большое удовлетворение от того, что немалое число слов, созданных им лично и почерпнутых им из других источников (прежде всего из народной речи) и введенных в литературный язык, вошли во всеобщее употребление. Вместе с тем А. Балан досадовал, что многие из созданных им слов не были поддержаны современниками и не закрепились в литературном языке.

Собственный вклад в лексику литературного языка А. Балан высоко ценил. На склоне своей жизни он хотел представить его в виде словарника, который бы включал слова, утвердившиеся в литературном языке, и слова, в него не вошедшие. О таком намерении А. Балан сообщал в письме от 21 ноября 1949 г. будущему академику, а тогда еще молодому доценту П. Динекову. Узнав о намечавшихся в Софии юбилейных торжествах по случаю своего 90-летия и связанных с этим некоторых мероприятий, А. Балан, находившийся в то время в курортном городке Боровец, писал П. Динекову, что хотел бы "направить свое сокровенное желание на осуществление издания моих работ в трех томиках (1. Язык; 2. Литература; 3. Общество) с критической библиографией и списком слов и выражений, мною вовлеченных в литературный язык, и других, в нем не принятых" [1. С. 75]. Как видим, издание списка собственных лексических новообразований А. Балан относил к числу своих сокровенных желаний и ставил в один ряд с подготовкой и публикацией трехтомника избранных трудов. Мы не знаем, составил ли А. Балан сам или с чьей-то помощью полный список таких новообразований, но что подготовкой их списка он занимался,

Венедиков Григорий Куприянович – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканстики РАН.

можно заключить из его предисловия к книге "Български залиси с език, книжнина и общество" (1956), написанном в июне 1954 г. В этом предисловии А. Балан писал: "И все же болгарский литературный язык в настоящее время использует несколько десятков слов и выражений моими руками созданных и запущенных в обращение, например, *верски*, *въз основа на...*, *влияние върху...*, *възглед*, *гледище*, *дейност*, *заплаха*, *излет*, *излетник*, *изтъкна*, *летовище*, *общувам*, *предимство*, *предходни*, *поява*, *становище*, *съгласно със...*, *съответни*, *съвпадеж*, *творба*, *тъй че...*, *украса*, *усет*, *хижа* и др." [2. С. 4]. Через год, в октябре 1955 г., отвечая на приветствия, прозвучавшие в его адрес на научной сессии в Софии по случаю его 95-летия, А. Балан вновь коснулся итогов своей словотворческой деятельности. «Результат моей личной предыдущей борьбы за наш национальный язык – это уже несколько десятков слов и выражений, моими руками вызванных к жизни или сотворенных ("съживени или извяни") и всеми принятых. Упомяну здесь только два: *усет* и *творба*» [3]. Первое (*усет* 'чутье') ученый считал словом народным, которое он сам "вывел из летаргического сна болгарского словаря", т.е. почерпал из словаря болгарского языка, а второе (*творба* 'произведение, творение'), по его словам, "рождено им в муках мысли, иначе говоря, создано им" [3].

Приведенный самим А. Баланом список его авторских лексических новообразований стал одним из опорных источников при характеристике и иллюстрации его вклада в лексику болгарского литературного языка, последовавших в многочисленных статьях и других трудах об этом ученом. Другим таким источником оказался список, который представил Ст. Стойков в докладе "Академик Александр Теодоров-Балан и болгарский язык" на упомянутой выше юбилейной сессии в октябре 1955 г. "Немногие знают, – сказал тогда Ст. Стойков, – что благодаря неустанной и настойчивой работе акад. Балана на протяжении более 70 лет мы пользуемся теперь множеством введенных им слов и выражений. Таковы, например, его слова *заплаха*, *усет*, *възглед*, *предимство*, *поява*, *проява*, *украса*, *творба*, *дейност*, *гледище*, *становище*, *гласеж*, *съвпадеж*, *излет*, *излетник*, *летовище*, *кланица*, *хижа*, *съответен*, *преходен*, *верски*, *общувам*, *изтъкна*, *влияние върху*, *съгласно със*, *въз основа на*, *тъй че* и др" [4].

Список этот, содержащий те же слова, которые указал сам А. Балан, дополнен тремя другими – *проява*, *гласеж* и *кланица*, а вместо *предходни* (так у Балана – с -ни, как он писал такого типа прилагательные) здесь находим *преходен* (без д перед х) – явная ошибка автора или не выправленная типографская опечатка<sup>1</sup>.

Работая в 1959 г. над указанным выше докладом, Ст. Стойков приведенный список балановских слов составил, надо полагать, при консультации с А. Баланом и обнародовал его на торжественной юбилейной сессии с его ведома и одобрения. Нужно заметить также, что со списком А. Балана Ст. Стойков в 1959 г. мог ознакомиться и по рукописи вышедшей в следующем году книги А. Балана "Български залиси", редактором которой он был.

В отличие от А. Балана, приведшего список своих авторских новообразований без конкретизации того, какого рода новообразованиями они являются (результат его собственного словотворчества или же использование народных слов и др.), Ст. Стойков разграничивает три типа балановских новообразований: а) слова, взятые им из народной речи (*летовище*, *хижа*), б) слова, заимствованные из западных славянских языков (*творба*), и в) слова, "созданные им лично на основе наличного болгарско-

<sup>1</sup> В переизданной после смерти Ст. Стойкова этой статье вместо словосочетания *влияние върху*, указанного А. Баланом, находим *влияе върху* [5] – досадная ошибка, в которой повинен не автор статьи, а ее редакторы. Подобного рода небрежности в опубликованных списках балановских слов, к сожалению, отнюдь не единичны и они расширяют ошибочные представления о реальном вкладе А. Балана в лексику болгарского языка. За недостатком места укажем здесь только, что словосочетание *влияние върху* в некоторых работах трансформируется в одно слово *влияние* [6; 7. С. 25], а прилагательное *предходни*, кроме указанного Ст. Стойковым *преходен*, преобразуется в некоторых трудах в ...существительное *предходник* (см., например: [8; 9. С. 248] и даже в *преходник* [10], а иногда указываются оба слова – *преходен* и *предходник* [9. С. 304; 11].

го языкового материала (*усет*, *заплаха*, *кланица*, *възглед*, *дейност*, *общувам* и др." [4]. Ст. Стойков, таким образом, к собственным лексическим творениям А. Балана относит лишь часть тех слов, которые, как он полагает вслед за самим маститым филологом, были им введены в литературный язык.

Из большого числа (нескольких десятков) слов, созданных и введенных в болгарский литературный язык именно им, А. Балан особенно гордился двумя – *усет* и *творба* (см. приведенный выше отрывок из выступления на сессии в 1955 г.). В том, что заслуга обогащения лексики родного языка этими словами принадлежит именно ему, А. Балан не сомневался. В отношении слова *усет*, однако, он ошибался, и об этом слове речь и пойдет ниже.

В своих последних по времени высказываниях о слове *усет* (середина 50-х годов) А. Балан дает разное объяснение его возникновения в собственном лексиконе: а) оно создано самим А. Баланом [2. С. 4] и б) взято им из словаря народной речи [3]. Иную версию возникновения у него этого слова и времени его появления в литературном языке А. Балан предлагал в сохранившейся рукописи доклада "Усет и възпитание на усета за български език" ("Чутье и воспитание чутья к болгарскому языку"), прочитанного им за двадцать лет до этого, в 1934 г., и впервые опубликованного только в 1956 г. [2. С. 44–53]. В начале доклада А. Балан отмечает, что "вокруг этого слова развивается небольшая история" [2. С. 44]. Он рассказывает, что еще за 20 лет до этого, т.е. в начале второго десятилетия XX в., слово *усет* ему не было известно, он его не употреблял ни в устной речи, ни на письме. "Возможно, – говорит он, – что слово *усет* знали и даже на письме где-нибудь употребляли другие болгары, однако в речи лиц и в книгах, с которыми я общался и из которых я познаю разные языковые вещи, слово это двадцать лет назад мне не попадалось" [2. С. 44]. Здесь память, наверное, А. Балана подвела (в 1934 г. ему было уже 75 лет), и он допустил явную неточность. В действительности слово *усет* ему было известно и несколько ранее, по крайней мере десятью годами, и сам он его употреблял в своих текстах. Так, в статье "Слог и говор", опубликованной в 1904 г., в числе болгарских слов, употреблявшихся к тому времени в литературном языке наряду с иностранными, А. Балан называет *усет* и его русский эквивалент *чутіе* (т.е. *чутье*) и сам же его употребляет в собственном тексте: "Някои от тях (имеются в виду иностранные слова в болгарском языке. – Г.В.) и досега още сановито се пъчат у книжовници, които нехаят на език домашен, или нямат *усет* за развой на собствени наши изрази срещу чужди" [12]. Ср. и в примере из его другой статьи, написанной годом позднее: "Това същото признава и Славчовът поетичен *усет*" [13]. Можно, таким образом, смело утверждать, что слово *усет* А. Балан знал и употреблял уже в первые годы XX в. Знал и употреблял ли он это слово и ранее, может показать только тщательное изучение его текстов, опубликованных ранее.

Любопытно, что А. Балан не мог объяснить обстоятельств возникновения слова *усет* в своем лексиконе. "Как и где, – говорил он, – узнал я об этом слове и не явилось ли оно произвольным проявлением пытливого духа в минуту необходимости – проявлением потребности в соответствующем словесном символе для особого понятия, – я не могу вспомнить и сказать" [2. С. 44]. Эту же мысль он высказывает и в другом месте: "И я не помню, создал ли я слово *усет* в силу необходимости для самого себя, как я создал как-то *днище*, или же оно пришло откуда-то ко мне через мой слух или зрение и запечатлелось где-то в глубине моей души" [2. С. 45]. А. Балану, однако, запомнилось, что однажды он обнаружил его в словаре Найдена Герова. В каком году это произошло, он не указывает, но ясно, что это не могло произойти до 1904 г., когда вышел 5-й том этого словаря, содержащий слово *усет*. В 1904 г., как уже было сказано выше, А. Балан не только сам употреблял это слово, но и приводил его в числе многих других, которые уже употреблялись в болгарском литературном языке благодаря стараниям тех, кто заботился об очищении его от множества нахлынувших в него русизмов.

Из сказанного самим А. Баланом, таким образом, следует, что еще до выхода в свет 5-го тома словаря Н. Герова слово *усет* уже было в употреблении и что словарь этот, и сам А. Балан к его появлению в литературном языке никакого отношения не имеют. Страстный ревнитель чистоты родного языка, А. Балан вместо широко употреблявшегося русизма *чутье* (*чутью*, *чуте*) стал использовать болгарское по своей структуре слово *усет*. Он воспринял его в самом начале XX в. (а может быть, и ранее) в готовом виде скорее всего из письменных текстов своих современников, так что переводить russk. *чутье* или заменять его болгарским *усет*, открывая тем самым начало его утверждения в литературном языке, А. Балану не было необходимости. А. Балан, как видно из приведенных его цитат, не исключал того, что к нему самому слово *усет* могло прийти и устным путем.

Важно иметь также в виду, что А. Балан не был единственным, а возможно и первым, филологом, кто в начале нашего века русизму *чутье* предпочел болг. *усет*. Заменить этим словом другой распространенный русизм – *ощущение* – предлагал Б. Цонев в докладе "Правописание и благозвучие", прочитанном 18 ноября 1901 г. в обществе "Болгарская речь" [14].

Современные же исследователи словотворчества А. Балана, опираясь главным образом на приведенные выше высказывания самого А. Балана и Ст. Стойкова, единодушно признают, что слово *усет* своим появлением в болгарском литературном языке обязано исключительно акад. А. Балану. В их трудах, однако, дается разное объяснение того, каким образом А. Балан его "получил" – создал, приспособил народное слово и т.д.

Одни исследователи совершенно утверждают, что слово *усет* создано А. Баланом. Так, уже Ст. Стойков в цитированном выше докладе приводит его в ряду слов, "созданных лично им (т.е. А. Баланом. – Г.В.) на основе наличного болгарского языкового материала" [4]. Другие включают *усет* в число слов, "с сотворенных им на основе наличного болгарского языкового словника" [15] или "составленных им согласно словообразовательным законам болгарского языка" [16]. В академической "Истории новоболгарского литературного языка" слово *усет* дается в числе "новых слов, образованных (А. Баланом. – Г.В.) по образцам, продуктивным в народном языке" [11], а у К. Попова оно фигурирует в ряду слов, созданных А. Баланом "из болгарского языкового материала" [10]. Слово *усет* называется также вместе с другими, которые признаются "созданными или приспособленными и популяризованными" А. Баланом [17]. Находим его и в числе слов, «введенных в употребление или же специально созданных ("изковани")» А. Баланом [6]. Рассматриваемая точка зрения утверждается авторами университетских пособий по болгарской лексикологии [18; 19] и истории современного литературного языка [9. С. 304]. Утверждается она и в широких кругах читателей литературных газет и журналов [15; 20].

Несколько иначе объясняет возникновение слова *усет* в лексиконе А. Балана Л. Андрейчин. Он также относит его к результатам "словотворческого умения" А. Балана, но само его создание рассматривает как "использование наших (т.е. болгарских. Г.В.) народных слов для выражения нового содержания" [21–23].

Существует также мнение, что слово *усет* представляет собой просто перевод russk. *чутье*. Так, например, В. Попова пишет: "Слово *усет* как перевод russk. *чутью* (так в оригинале. – Г.В.) – это слово Балана" [7. С. 24]<sup>2</sup>.

Во многих трудах других авторов *усет* указывается в перечне созданных А. Балан-

<sup>2</sup> Любопытный пример соотношения болг. *усет*, которым А. Балан якобы перевел russk. *чутье*, с другим русским словом – синонимическим ему *нюх*, находим в недавно опубликованной статье Ж. Бояджиева: «Тук на [на проф. С.] Иванчев идваше на помош несъмненият му остър лингвистичен *усет*, един особен "нюх", който му позволяваше да схване и да приеме нещо ново, твърде необичайно, спорно» [24]. Автор статьи, очевидно, счел, что russk. *нюх*, несмотря на ее разговорный характер, а не *чутье*, в данном случае точнее и выразительнее оттеняет свойственное проф. С. Иванчеву качество, о котором говорится в статье.

ном слов без какой-либо конкретизации словаобразовательного "механизма" его создания (см., например, [25; 26]). Этим и некоторыми другими словами иллюстрируются благотворные результаты "беспримерного по своему характеру в истории новоболгарского литературного языка словотворчества", которые оставил своим соотечественникам А. Балан [27].

Слово *усет* можно встретить и в перечне слов, о которых сообщается только, что они "введены" в литературный язык А. Баланом [1. С. 70], или что они своим появлением в нем обязаны его "языковому чутью или мастерству" [28], или просто, что они "связываются" с его именем [29]. Нередко *усет* приводится и в списке слов, характеризуемых просто как "слова Балана" (см., например: [30; 31; 7. С. 25]). Вместе с рядом других слов *усет* приводится в подтверждение заслуг А. Балана в обогащении лексики современного болгарского литературного языка [32].

Сказанное выше свидетельствует о безусловном и единодушном признании исследователями и популяризаторами словотворческой деятельности выдающегося филолога того, что своим возникновением в современном болгарском литературном языке слово *усет* обязано единственно и исключительно ему. Иллюстративный материал в подтверждение такого заключения можно было бы легко умножить, однако и приведенного достаточно, чтобы у читателей сомнения в его правомерности не возникали.

Убеждение исследователей в том, что появление слова *усет* в литературном языке так или иначе связано с деятельностью А. Балана, возникает не вдруг, оно формируется, складывается уже на школьной (гимназической) скамье, закрепляется затем в университетской аудитории, поддерживается авторитетом ученых-языковедов. В одном из учебных пособий для учащихся старших классов "национальной средней школы по культуре", изданном в 1989 г., утверждается, например, как и в научных трудах, что А. Балан "вводит в литературный язык такие слова как *възглед*, *гледище*, *дейност*, *излет*, *предимство*, *становище*, *усет* и др." [33]. Вполне закономерно поэтому, что создание и введение А. Баланом слова *усет* и некоторых других слов расценивается как его "языковое открытие" [34].

Самому А. Балану слово *усет* было очень дорого. Может быть и потому, что оно – его творение, каким он его считал, – подверглось в первые годы нападкам. «Когда на страницах моих литературных работ появилось слово *усет*, – вспоминал А. Балан в начале 30-х годов, – знакомые и незнакомые жрецы болгарского слова набросились грубо ("българански") на него и на меня. Но время шло, и моя страдалица взъими да и начни появляться в литературных трудах отдельных авторов, хотя и не везде она использовалась точно по своему значению. Теперь это слово свободно и почитаемо в письменной и устной речи любого хорошего болгарского литератора. И если кому-либо из его почитателей я напомнил бы, что оно еще совсем молодо в болгарской литературе, что оно в моем лице подвергалось поношению, он бы, если он сравнительно молод, удивился, как это вообще можно было покушаться на это столь безумно хорошее и необходимое болгарское слово» [2. С. 46].

А. Балан, однако, заблуждался, а вместе с ним заблуждаются и многие современные исследователи его словотворчества. Он не был ни первосоздателем слова *усет*, ни даже первым, кто употребил его в литературном языке, по той простой причине, что слово это употреблялось в болгарском литературном языке уже до него. Вот несколько примеров в подтверждение сказанному.

Хронологически самый ранний известный нам пример употребления слова *усет*, относится к 1846 г., т.е. за 13 лет до рождения А. Балана. В письме от 7 октября 1846 г. Найден Геров пишет: "Тоя въпрос бе тъй искренен тъй простодушен, чото аз много пожалях, че не знаях, коя е тая блъгарка та да и кажа истината, а на *усет* да говоря не бе работа" [35]. Два других ранних примера относятся к 1861 г. В изданной в том году в переводе Йоакима Груева "Краткой логике" И. Михневича читаем: "При това новото представление често пълно ся присъединява в мисълта, а с думи ся показва само на *усет*. Това дава начало на съждения включителни и исключителни,

гдете с изречения и, само, един докарва ся *усет* за подразумяваемото кълбо" [36]. Позднее слово это получает более широкое употребление. Ср., например, у И. Шишманова в его монографии "Константин Г. Фотинов" (1894): "Колцина от нашите редактори биха били щастливи, да притежаваха половина от редакторския *усет* на Фотинова" [37. С. 669]; "Тия разъждения са, без съмнение, по-научни и показват много по-тънък филологически *усет*, но тоя *усет* у Фотинова не е природен, а плод на занятия" [37. С. 704].

Приведенные примеры (а их число, наверное, легко увеличить, если специально изучить тексты XIX в.), как мы полагаем, не должны оставить у непредвзятого читателя словотворческого мастерства акад. А. Балана сомнений в том, что слово *усет* не может считаться авторским новообразованием этого маститого филолога.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Динеков П. Александър Теодоров-Балан – първият ректор на Софийския университет // Съпоставително езикознание. София, 1981. № 1.
2. Теодоров-Балан А. Български залиси с език, книжнина и общество. София, 1956.
3. Теодоров-Балан А. Отговор на приветствията // Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. София, 1955. С. 51.
4. Стойков С. Академик Александър Теодоров-Балан и българският език // Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. София, 1955. С. 17.
5. Стойков С. Александър Теодоров-Балан (1859–1959) // Строители и ревнители на родния език. София, 1982. С. 268.
6. Брезински С. Академик А. Т.-Балан – изтъкнат български филолог // Език и литература. София, 1978. № 5. С. 5.
7. Попова В. Александър Теодоров-Балан // А. Теодоров-Балан. Избрани произведения. София, 1987.
8. Русинов Р. Речниковото богатство на българската книжовен език. София, 1980. С. 99.
9. Русинов Р. История на новобългарския книжовен език. Изд. 2. София, 1984.
10. Попов К. Научното дело на видни български езиковеди. София, 1982. С. 25.
11. История на новобългарския книжовен език. София, 1989. С. 459.
12. Теодоров-Балан А. Избрани произведения. София, 1987. С. 293.
13. Периодическо списание. Год. LXVI. Св. 9–10. 1905. София, 1906. С. 671.
14. Цонев Б. История на българский език. София, 1937. Т. 3. С. 388.
15. Марков Г. Защитник на българския език // Литературен фронт. Бр. 42. 1979. 18.10. С. 3.
16. Кабасанов С. Академик Александър Теодоров-Балан // Български език и литература. 1959. № 2. С. 56.
17. Георгиева Е. Създаване на новобългарския книжовен език като национален език // Българската нация през Възраждането. София, 1989. Т. 2. С. 82.
18. Бояджиев Т. Българска лексикология. София, 1986. С. 122.
19. Георгиев С., Русинов Р. Учебник по лексикология на българския език. Изд. 2. София, 1983. С. 42.
20. Хайтов Н. Вълшебното огледало. София, 1982. С. 31–32.
21. Андрейчин Л. Поклон пред делото и паметта на А. Теодоров-Балан! // Български език. 1959. № 1. С. 7.
22. Андрейчин Л. На езиков пост. София, 1961. С. 133.
23. Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977. С. 145.
24. Бояджиев Ж. В памет на професор Светомир Иванчев // Съпоставително езикознание. София, 1996. № 1. С. 131.
25. Станков В. Основни проблеми на нашето езиково строителство. София, 1980. С. 7.
26. Викторова К. Александър Теодоров-Балан и езиковата култура // Български език. 1985. № 5. С. 428.
27. Георгиева Е. Източници за обогатяване на нашия книжовен език // Съвременният български книжовен език. София, 1983. С. 49.

28. Георгиева Е. Акад. Александър Теодоров-Балан, българската езиковедска наука и обучението по роден език // Български език и литература. София, 1989. № 5. С. 59.
29. Виденов М. Норма и реч. София, 1986. С. 65.
30. Георгиева Е. Езикова култура и езиково обучение. София, 1979. С. 82.
31. Кръстев Б. Икономията в българския език. София, 1981. С. 95.
32. Videnov M. Současná bulharština. Praha, 1978. S. 77.
33. Жерев С., Станков В., Цойнска Р. История на българския книжовен език. Учебник за 11. и 12. клас на националното средно училище по култура. София, 1989. С. 172.
34. Вълчев В. Бележки // А. Теодоров-Балан. Книга за мене си. София, 1988. С. 148.
35. Из Архивата на Найден Геров. София, 1914. Кн. II. С. 942.
36. Груев Й. Кратка логика. Виена, 1861. С. 56.
37. Шишманов И. Константин Г. Фотинов // Сборник за народни умотворения. София, 1894. Т. XI.



© 1997 г. ВЕНДИНА Т.И.

## СЕМАНТИКА ОЦЕНКИ И ЕЕ МАНИФЕСТАЦИЯ СРЕДСТВАМИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Настоящая статья находится в русле исследований, разрабатывающих проблемы лингвистической аксиологии. Аксиологические идеи и методы исследования долгое время имели наиболее широкое распространение в этнографии и социологии, в рамках которых велось изучение культур сквозь призму символов и ценностей разных этносов. Однако актуализация в последнее десятилетие идей антропологической лингвистики, обратившейся к изучению "души языка", т.е. опредмеченному в нем мировидению, системы ценностей этноса, дала мощный толчок развитию лингвистической аксиологии. Появившиеся в 80-е годы работы Н.Д. Арутюновой и Е.М. Вольф стали уже классическими в отечественной аксиологии, теми точками отсчета, с которых начинается новый виток исследований. Сошлюсь в связи с этим на диссертацию Т.В. Маркеловой [1], оппонировать которую мне пришлось совсем недавно. В центре внимания автора – поиски оснований для систематизации средств выражения семантики оценки на всех языковых уровнях. По мнению Т.В. Маркеловой, субъективность оценочного значения и объективность выражающих ее оценочных средств ярче всего проявляется в речевой деятельности говорящего, в процессе которой "интенции одобрения/неодобрения, похвалы/порицания детерминируют объединение разноуровневых оценочных средств языка для выполнения этой коммуникативной цели" [1. С. 2]. В связи с этим основное внимание автор уделяет прежде всего синтаксическому уровню русского языка. Явления фонетического и лексического уровня рассматриваются им сквозь призму синтаксиса.

Между тем, в качестве полемического возражения хотелось бы отметить, что лексика и особенно словообразование дают для этих наблюдений не менее благодатный материал. Об этом свидетельствуют не только модификаты (анализ которых приводится в диссертации Т.В. Маркеловой и которые традиционно связываются с аксиологией), но и огромный пласт производной лексики с мутационным словообразовательным значением, в которой эксплицитно, а чаще имплицитно содержится богатейшая информация о системе ценностей русского народа, начиная с витальных и кончая общественно-социальными и культурологическими. Однако при системном подходе к материалу эта информация все-таки прочитывается.

Как известно, в языке предметы и явления внешнего мира могут быть интерпретированы не только извне (через определения, синтаксическую сочетаемость), но и изнутри (через внутреннюю форму слова). При этом "сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для

---

Вендина Татьяна Ивановна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканстики РАН.

субъекта признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщенные модели действительности" [2]. Словообразование же открывает возможности для концептуальной интерпретации действительности. Оно позволяет понять, *какие* элементы внеязыковой действительности и *как* словообразовательно маркируются, *почему* они удерживаются сознанием, ибо уже сам выбор того или иного явления действительности в качестве объекта словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости для носителей языка. Цветовые, звуковые, вкусовые, функциональные качества и свойства предметов и явлений внешнего мира актуализируются лишь в тех объектах, которые вовлекаются в сферу познавательной и практической деятельности человека и которые представляют для него жизненную или социальную ценность. Сам процесс их "*означивания*" с помощью словообразовательных средств предполагает измерение их *значимости* для носителя языка. Поэтому в словообразовании ярче всего реализуется идея связи сознания со структурой языка.

Думается, что внимательное изучение фактов словообразования даст ответ на вопрос, какие ценности и почему удерживаются сознанием, и так как не все семантические сферы языка открыты для актов словообразования, то наличие словообразовательно маркированных элементов языка позволит понять, *что* в языковом сознании народа является жизненно и социально важным.

Кроме того, если попытаться сопоставить словообразовательный акт с механизмом выражения мнения о ценности в полипредикативных предложениях простой, сложной или осложненной структуры, то следует признать, что в словообразовательном акте (и шире – в процессе номинации) так же, как и в оценочном суждении, совершается тот же процесс мыслительной операции и устанавливаются те же причинно-следственные связи между явлениями действительности, как и в любом оценочном высказывании: здесь происходит то же сопоставление и так же дается логическая квалификация и оценка явлений, подлежащих словообразовательному детерминированию, как и в предикативных конструкциях. Более того, если принять во внимание общеизвестный факт, что в словотворческом акте присутствуют предикативные отношения (о чем писал еще П.А. Флоренский, уподоблявший слово "свившемуся в комок предложению, а предложение – свободно распустившемуся слову" – [3]; а позднее Е. Курилович, Е.С. Кубрякова и другие исследователи), то в производном имени можно выявить ту же предикацию, которая является ядром оценочного суждения, поскольку здесь происходит соединение называющего (или оценивающего) субъекта и предиката, передается отношение говорящего к предмету, в результате чего ему приписывается тот или иной признак. Думается, что верное в своей основе замечание Т.В. Маркеловой о том, что "структура производного слова подобна структуре оценочного высказывания, в котором аффикс выполняет функцию оценочного предиката, единственного обязательного вербализуемого компонента оценочного семантического комплекса" [1. С. 204] относится не только к модификатам, но и к транспозитам, а также к дериватам с мутационным словообразовательным значением.

Прежде чем перейти к аргументации этого положения, остановимся на кардинальных вопросах аксиологии, а именно понятиях ценности и оценки. Следует сразу сказать, что ни в социологии, ни в антропологии, ни в лингвистической аксиологии нет однозначных определений этих понятий, как нет и надежных, общепринятых стратегий их описания и квалификации. Отсюда такое разнообразие подходов и классификаций (особенно в зарубежной аксиологии, см., например, работы М. Шелера, Р. Ингардена, В. Зиллига, М. Рокича, Я. Пузиной и других исследователей). Попытаемся определить эти понятия и посмотреть, "работают" они или нет в словообразовании?

Наименее противоречивым является понятие ценности, которое большинство исследователей трактует, как значимость ("значимость предметов и явлений внешнего мира, главным образом, в функции социально-нормативного регулятора поведения людей" – [4]. Хотя следует признать, что существует мнение, согласно которому ценность и значимость – это не синонимические понятия, так как "значимое отношение

более универсальное, существующее вообще в живой природе" (ср., например, значимость элементов естественной среды для ориентации животных), а "ценностное отношение – эта особая группа отношений значимости, их превращенная форма, реализующаяся только в человеческом обществе и лишь благодаря этому существующая как социальный феномен" [5. С. 80], т.е. ценность при таком подходе уже по объему, чем значимость. При определении понятия ценности мы будем исходить не только из *положительной* значимости, но также *отрицательной* и *нулевой*<sup>1</sup>, что позволит в дальнейшем обратиться к изучению модальности ценностей. Поскольку понятие ценности выполняет самые различные функции в механизмах жизни человека (например, координирующую между человеком и миром природы, стимулирующую или направляющую, дидактическую, регулирующую и др. (подробнее см.: [7])), то в аксиологии существует множество классификаций ценностей, среди которых выделяются ценности абсолютные или вечные, конкретно-исторические, общественные или социальные, личностные, ценности биологического выживания и др. В философии и социологии в рамках системного подхода разрабатывается теория ценностей и их типология. В лингвистической аксиологии интересная классификация ценностей предложена польской исследовательницей Я. Пузыниной, которая предлагает различать ценности прагматические и ценности относительные (в последние включаются трансцендентные или метафизические, витальные, эстетические, этические, познавательные, а также ценности восприятия, причем обе группы ценностей могут быть как позитивными, так и негативными) [8; 9].

Какие же ценности становятся объектом словообразовательного детерминирования?

Следует сразу сказать, что в каждой семантической сфере языка, открытой для актов словообразования, использование деривационных средств подчиняется логике своей системы ценностей, хотя входящие в нее типы оценок могут быть общими для разных номинативных участков. В этом отношении чрезвычайно богатый материал дает русское диалектное словообразование. Если обратиться, например, к макрокосму, и в частности, к семантической сфере "Природа", то здесь отчетливо выделяются ценности, которые условно можно обозначить, как "Человек и природа". Представление человека об окружающем его мире, и в частности о природе, формируют глубинную основу его системы ценностей и прежде всего – ценностей биологического выживания. О ценностном отношении к природе как к источнику жизни или смерти (и шире – добра и зла) говорит существование значительного пласта производных имен, обозначающих различные состояния природы. В основе большинства имен, входящих в семантическую сферу "Небо и небесные тела", лежит аффективная (сенсорная) оценка, связанная с чувственным (в том числе физическим) способом познания мира. Небезынтересно в связи с этим отметить, что в указанной семантической сфере наиболее яркое словообразовательное выражение получили имена, входящие в номинативный участок "Атмосферные и климатические явления" и относящиеся к миру антиценостей (плохая погода, дождь, снег, мороз, ветер и др., сошлились, например, на активное использование диалектоносителями словообразовательных средств для обозначения плохой, ненастной погоды, ср. *дрябня, замочь, капель, мокорь, мокрень, мокресть, мокреца, мокропогодица, мокрота, мокрохвостица, мокрянница*)<sup>2</sup>, что становится понятным, если рассматривать их с точки зрения ценностей биологического выживания: маркируется, как правило, то, что является не только ано-

<sup>1</sup>Удачную, на наш взгляд, аргументацию этой классификации ценностей привел А.А. Ивин, который, выделяя нулевые ценности, замечает, что "слово *действие* является общим именем не только для собственно действия, но и для воздержания. Поэтому ценностное отношение имеет место как в том случае, когда предмет оказывается объектом положительного или отрицательного интереса субъекта, так и в том случае, когда предмет исключается субъектом из сферы своих интересов, когда ему приписывается нулевая ценность" [6. С. 13].

<sup>2</sup>Примеры почерпнуты из картотеки материалов Лексического атласа русских народных говоров, работа над которым широко развернулась в настоящее время.

мальным, но и несет в себе угрозу для жизни (в том числе и для сельского хозяйства). Именно этим, по-видимому, объясняется тот факт, что все иные ценности в этой семантической сфере словообразовательно не детерминируются.

Если исходить из того, что любое явление, оцениваемое как хорошее или плохое (полезное или вредное), является ценностью, то выбор этих природных явлений в качестве объекта словообразовательного маркирования не может не свидетельствовать о том, что внимание русского человека обращено не столько к небу и небесным телам, сколько к тем атмосферным явлениям, которые определяют среду его обитания и связаны с его биологическим выживанием<sup>3</sup>.

Если же подойти к этим явлениям с позиций категорий *добра* и *зла*, то следует признать, что в русском языковом сознании они предстают как источник зла (т.е. угрозы существования), а в языковой (а точнее словообразовательной) реакции проявляется одна из ценностных ориентаций русского народа, точкой отсчета которого в духовном освоении мира выступали прежде всего ценностные противоположности – добра и зла, небесного и земного.

Совсем иные ценностные ориентации представлены в семантической сфере микрокосма. Здесь на первый план выходят личностные ценности, в частности эстетические, этические, поведенческие, витальные, с которыми оказываются тесно связаны ценности утилитарные (в русских диалектах, например, при словообразовательном детерминировании этических ценностей, маркируется прежде всего негативная оценка человека, ср. *врагун*, *злец*, *озлобок*, *лютич*, *невзгодник*, *ненавидчик*, *нелюдь* ‘злой, недоброжелательный человек’ или *грубец*, *грубитель*, *дроволом*, *зубач*, *огрызень*, *непочетник*, *неувага*, *сорвач* ‘грубый человек’, при практически отсутствующих производных с противоположным признаком). Такое обилие имен с отрицательной оценкой (причем не только в диалектах, но и в литературном языке) позволило А. Вежбицкой говорить о гиперболизации моральных оценок в русском языке и оценить этот факт как “отголосок моральной и эмоциональной ориентации русской души” [11]. А если исходить из того, что словообразовательно маркируется то, что не соответствует этическим взглядам личности (т.е. явления аномальные в человеческих отношениях), то следует признать, что прирожденным типом русской натуры является тип доброго и отзывчивого человека (нельзя исключить, однако, что здесь мы имеем дело с проявлением одной из языковых универсалий, о чем свидетельствует сходная ситуация в чешском языке, причем не только в современном, но и в древнечешском (подробнее см.: [12])).

Даже эти небольшие эмпирические отступления свидетельствуют об аксиологической ориентированности словообразования, которое показывает, что объективный мир членится человеком с точки зрения категорий ценности. А поскольку в аксиологии ценность существует не сама по себе, а лишь по отношению к человеку, то все, что связано с человеком как существом биологическим и социальным, все, что составляет его материальные и духовные ценности, является объектом словообразовательного детерминирования. Поэтому обращение к фактам словообразования при изучении оценки в языке позволит выявить ценности как некоторую систему значимостей, обладающих этнокультурной спецификой.

Как же происходит оценивание предметов и явлений внешнего мира, по каким основаниям? Возведение их в ранг признаваемых ценностей происходит через оценку.

<sup>3</sup>Косвенным подтверждением этого положения могут служить и наблюдения Г.Ф. Ковалева, который, отмечая довольно ограниченный круг астронимов в русских говорах (представленных в большинстве своем описательными конструкциями), пишет: “И это совсем не потому, что наши предки были равнодушны к виду ночного неба. Конечно нет. И в ночном, когда стерегли стреноженных лошадей, и на покосах, когда косари вставали рано, дожидаясь утренней росы, небо оставалось единственной естественной картиной, которую можно было рассматривать бесконечно. Просто земледельческий характер деятельности наших предков не зависел в такой степени от расположения звезд на небе, в какой это было для путешественников и мореплавателей, которым небо всегда верно служило и надежными часами, и выверенными географическими картами” [10].

При определении оценки будем исходить из того, что "оценка является субъективным выражением значимости предметов и явлений окружающего нас мира для нашей жизни и деятельности" [13], т.е. оценка – это умственный акт, в результате которого устанавливается отношение субъекта к оцениваемому объекту с целью определения его значения для жизни и деятельности субъекта.

В логике принято выделять следующие компоненты оценки: субъект, объект, основание и характер оценки [6. С. 21].

*Субъект оценки* – лицо (или социум), определяющее ценность того или иного предмета, путем выражения оценки.

*Объект оценки* – это предмет или явление, которым приписывается ценность (или антиценность), ср. обозначение плохой погоды в русских диалектах: *беспогодица, негода, неведрие, наносица, непора* и т.д.

*Основание оценки* – это ее мотивация или оценочный признак, т.е. "то, с точки зрения чего производится оценивание" [6. С. 27]. Именно основание оценки является базой многочисленных классификаций оценок, ср. название одуванчика в русских диалектах, в которых основанием оценки может являться вкус (*горькуха*), цвет (*желтушка*) – аффективная оценка или акциональный признак (*пустодуй, обдуванчик*), признак подобия (*огонек, фонарик, теремок*) – рационалистическая оценка.

В зависимости от того, какие признаки актуализируются в оценочном акте, основания оценки принято дифференцировать на внутренние и внешние. "Внутренние выражают эмоциональную сферу говорящего, его чувства, ощущения, положительные и отрицательные эмоции, связанные с психической сферой симпатий и антипатий. Внешние ориентированы на когнитивную сферу говорящего, они отражают знания субъекта, формируемые отношением ментальной и социальной природы окружающей человека действительности" [1. С. 68].

*Характер оценки* – это признание ценности (положительной, отрицательной или нулевой) объекта оценки, ср. обозначение в русских говорах человека небольшого роста: *коротай, корявчик, малык, малозём, позёмыши, недоростыш, оскребок, поползень, низень*, в которых отчетливо проглядывает отрицательная коннотация; в оценках-когнитивах, наоборот, чаще представлена нулевая ценность.

Следует сразу отметить, что в производном слове не всегда выражаются все четыре компонента оценки, поскольку характер оценки и ее основание могут часто совпадать, реализуясь в одной семе (*красиво/некрасиво, приятно/неприятно, морально/аморально*). Субъект оценки может быть также часто выражен имплицитно, поскольку эксплицируется он в основном в субъективно- или эмоционально-окрашенных образованиях.

Познание мира – это сложный процесс моделирования окружающей действительности. "Мыслительная и познавательная деятельность людей не ограничивается отражением реальности. Окружающий мир оказывается вовлеченным в личностную сферу человека: явления и предметы оцениваются, принимаются или отвергаются" [14]. Человек, таким образом, не только познает, но и оценивает мир, оценивает его свойства и качества с точки зрения их значимости для удовлетворения своих потребностей. Поэтому "любая оценка содержит два относительно самостоятельных аспекта: гносеологический и ценностный" [5. С. 82], т.е. оценка является специфической формой проявления познания [15]. Не случайно Т.А. ван Дейк называет ее "когнитивным феноменом", тесно связанным с практической деятельностью человека [16].

Оценивание предметов и явлений внешнего мира представляет сложную познавательную процедуру, "поскольку это оперирование двумя типами знаний – о внешнем предмете и о потребностях субъекта" [17]. Оценочный подход к предмету или явлению внешнего мира предполагает прежде всего восприятие его органами чувств (на этом этапе формируются первичные эмоции, которые являются базой оценочных суждений). Следующий этап – это оценочно-умственный акт, в котором аффективное

отношение человека к внешнему миру предстает в преобразованном виде, в результате чего формируются производные эмоции и рациональное суждение о ценности предмета. На этом этапе "оценочное познание, являясь постижением сущности ценности объекта, находит свое завершение в выражении отношения субъекта к оцениваемому предмету" [18], которое проявляется в оценке "важно", "значимо", приписываемой оцениваемому объекту. Иллюстрацией этого положения может служить прекрасная схема В.Г. Гака [19], выявляющая специфику взаимоотношений эмоций, мышления и оценки:

<i>субстрат</i>	<i>мышление</i>	<i>следствие</i>
ощущение	чувства	говорение
восприятие	оценки	действие
представление		(+ воля)

Выделение этих этапов формирования оценки определяется нейробиологическими предпосылками, которые заключаются в двойственности связи психики и сознания человека с внешним миром: через чувственные рецепторы и через систему потребностей.

Исходя из этого, учитывая также классификацию оценочных значений, предложенную Н.Д. Арутюновой [20. С. 12] считаем целесообразным различать следующие виды оценок:

I. *Оценки-аффективы*, отражающие первый (чувственный) этап восприятия предметов и явлений внешнего мира, ср.:

зрение (ср. *голубика*, *черника*, *желтушка* 'одуванчик', *рыжик*, *серебрянка* 'горбуша');  
слух (*кукуля* 'кукушка',  *журжалка* 'муха', *квакушка* 'лягушка');  
обоняние (*пахучка* 'вереск', *вонючка* 'мелкий летний гриб');  
осознание (*тепляк* 'теплый южный ветер', *холодель* 'холодная погода', *масляй* 'масленок');  
вкус (*кислика* 'щавель', *горчак* 'в названиях грибов');  
гравитация (*тяжелко* 'трубный, будничный кафтан').

II. *Оценки-когнитивы*, отражающие второй этап восприятия предметов и явлений внешнего мира:

1) рационалистические оценки (это широкий спектр оценок "связанных с практической деятельностью человека, его практическими интересами и повседневным опытом; их основные критерии: физическая или психическая польза, направленность на достижение определенной цели, выполнение некоторой функции, соответствие определенному стандарту" [20. С. 14]. Это самая обширная группа оценок, поскольку "с помощью словообразовательных средств маркируется, как правило, все то, что имеет ценность в духовно-практической деятельности человека, что несет в себе опасность или угрозу его существованию, а также то, что позволяет ему ориентироваться в окружающем мире" [21], ср., например, пространственные оценки, в которых актуализируется сема "место" или "направление" (*береговушка* 'ласточка', *дуплянка* 'белка', *придорожник* 'подорожник', *позвенница* 'низовая метель' или функциональные, указывающие на назначение: леса (*избняк* 'лес, идущий на строительство домов'), травы (*чистец* 'чистотел'), грибов (*соленик* 'гриб, идущий на засолку'), домашнего животного (*волкогон*, *волкодав* 'в названиях собак') или птицы (*паруха*, *седунья* 'курица, которая высиживает цыплят') и т.д.;

2) психологические: с помощью этих оценок передается чаще всего субъективно-ориентированная характеристика человека, особенности его характера или интеллектуального уровня, в связи с чем здесь выделяются:

а) эмоциональные (ср. *зубочек*, *весельчик*, *занятник*, *грохотун* в значении 'веселый человек');

б) интеллектуальные оценки (ср. *безумник*, *легкоум*, *мозготряс*, *неумок* в значении 'глупый, бесполковый человек');

III. *Оценки-сублиматы* или абсолютные оценки: "они возвышаются над сенсорными (и, добавим, когнитивными) оценками, гуманизируя их" [20. С. 14], удовлетворяя чувство прекрасного и нравственные чувства субъекта. Они включают:

1) эстетические (ср. *некраса*, *невзора*, *изродок*, *мордоворот* в названиях некрасивого, уродливого человека);

2) этические (ср. *врагун*, *злец*, *о злобок*, *ненавидчик* в названиях злого, недоброжелательного человека).

Следует сразу сказать, что эта классификация является открытой, поскольку изучение словообразования в аксиологическом аспекте позволит в дальнейшем ее дополнить или продолжить.

Понятно, что в разных семантических сферах языка используются разные виды оценок: если, например, в семантической сфере "Природа" чаще всего представлены аффективные и рационалистические оценки, в которых имплицитно выражается сема "важно", то в семантической сфере "Человек" отмечены преимущественно психологические, этические и эстетические оценки.

Причем интересно отметить, что одна и та же реалия внешнего мира в зависимости от характера ее восприятия носителями языка может оцениваться по-разному. Развивая мысль А.А. Потебни (заложившего основы когнитологии) о языке как способе дискретизации действительности, можно сказать, что наиболее яркое воплощение эта особенность языка получает в словообразовании. Системный подход к производной лексике позволяет эксплицировать знания о мире, тот совокупный общественный опыт, который имплицитно присутствует в каждом производном слове. И в этом отношении чрезвычайно благодатным является материал диалектного словообразования, который дает возможность увидеть предмет или явление действительности с разных точек зрения, ср., например, названия клевера, где представлены такие виды оценок, как аффективная (*медовик* – вкус; *белоголовик* – зрение; *мякушка* – осязание) и когнитивная (рационалистическая: *лапка*, *кашица*, *кукулка*, *крупка* – сема подобия и др.). Мотивировочные признаки производного слова выявляют не только основание оценки, но что, пожалуй, более ценно – различия в мироощущении, мирочувствовании, миросозерцании и мирооценке русского народа. Эти различия в своей совокупности и формируют целостную картину его мировидения.

Проблема ценностей и оценки в пространстве словообразования нуждается в фундаментальной разработке. Требует особого изучения вопрос о предметах оценки и словообразовательного маркирования, а также о типах их оценки, т.е. иными словами вопрос о денотации и сигнификации оценки. Словообразовательные средства, используемые для актуализации оценочных признаков, предицируемых многообразию предметов и явлений внешнего мира, позволяют презентировать картину ценностных ориентаций русского народа. Изучение и каталогизация реалий, возводимых в ранг ценностей (и являющихся объектом словообразовательной детерминации), а также оснований их оценки, базирующихся на их конкретных дескриптивных свойствах, позволит приблизиться к пониманию языковой картины мира русского народа и "погрузиться" в мир его ценностных отношений. А поскольку существует тесная эмоционально-когнитивная связь этноса с природной средой его обитания, то здесь, как представляется, открывается возможность к переходу в этнолингвистику (особенно если воспринимать ее в "широком", а не "суженном плане", как на этом настаивал Н.И. Толстой [22], к изучению этнического мировидения через взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Маркелова Т.В.* Семантика оценки и средства ее выражения в русском языке. Докторская диссертация. М., 1996.
2. *Петренко В.Ф.* Психосемантика сознания. М., 1988. С. 12.
3. *Флоренский П.А.* "Термины" // ВЯ. 1989. № 1. С. 126–127.
4. Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994. С. 10.
5. Ценности познания и гуманизация науки. М., 1992.
6. *Ивин А.А.* Основания логики оценок. М., 1971.
7. *Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988. С. 60.
8. *Puzynina J.* Językoznawstwo a aksjologia. Warszawa, 1982.
9. *Puzynina J.* Język wartości. Warszawa, 1992.
10. *Ковалев Г.Ф.* Астронимы в говорах воронежской области // Актуальные проблемы изучения русских народных говоров. Материалы межвузовской научной конференции. Арзамас, 1996. С. 58.
11. *Вежбицкая А.* Язык, культура, познание. М., 1996. С. 84.
12. *Стемковская Ю.Е.* Человек в зеркале родного языка (на материале чешских словарей XIV–XX вв.) // Славяноведение, 1997. № 1. С. 43.
13. *Фабело Х.* Оценка и познание // Вестник МГУ. Сер. 7. 1984. № 1. С. 27.
14. *Дмитровская М.А.* Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988. С. 8.
15. *Коршунов А.М.* Социальное познание, ценность, оценка // Философские науки. 1977, № 6. С. 57.
16. *Дейк Т.А.* Язык. Познание. Коммуникация (пер. с англ.). М., 1989. С. 12.
17. *Руденко Д.И.* Имя в парадигмах философии языка. Харьков, 1990. С. 167.
18. *Кислов Б.А.* Проблема оценки в марксистско-ленинской философии: вопросы теории и методологии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Свердловск, 1986. С. 11.
19. *Гак В.Г.* Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля) // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. С. 22.
20. *Арутюнова Н.Д.* Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. М., 1984.
21. *Вендина Т.И.* Лексический атлас русских народных говоров и лингвистическая гносеология // ВЯ. 1996. № 1. С. 40.
22. *Толстой Н.И.* Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Н.И. Толстой. Язык и народная культура. М., 1995. С. 32.



© 1997 г. БИРМАН М.А.

## П.М. БИЦИЛЛИ (1879–1953)

Начиная с 1993 г. в Болгарии и России опубликовано, точнее переиздано, несколько книг по истории, филологии и культурологии, принадлежащих перу профессора П.М. Бицилли (в их числе [1–9]). В изданиях Москвы тогда же было перепечатано изрядное количество его эссе и этюдов. Сверх того, в 1995 г. в Софии впервые опубликован ранее считавшийся утерянным труд ученого о театре Ренессанса в Италии [10]. Готовятся и иные переиздания.

Многочисленные оригинальные работы Бицилли содержат подчас новаторские и парадоксальные концепции, идеи и гипотезы в различных областях гуманитарного знания. Склонный к синтетическому мышлению, он создал капитальные обобщающие компендиумы и первоклассные монографии, исследовав великое множество разнообразных проблем истории и культуры Европы и России. Особое место занимают его труды, посвященные теоретико-методологическому осмыслению исторических и историко-культурных процессов.

Поначалу обнародованные преимущественно в эмигрантских и болгарских университетских и прочих малотиражных изданиях и ставшие недоступными, эти произведения по ряду причин в большинстве пока не вошли в научный обиход (об этом – ниже). Ныне исследователи проявляют нарастающий интерес к наследию ученого, как бы стремясь компенсировать недостаток внимания к творчеству Бицилли при жизни и в последующее после его кончины сорокалетие.

Биография Бицилли еще не написана. Частично освещен лишь последний, болгарский период его деятельности [11–21]. Начальные же ее этапы, охватывающие около половины сознательной жизни ученого, остались без внимания. Это обусловлено главным образом скучностью документального материала, с которым столкнулся и автор настоящей статьи.

На основе всего обнародованного, рукописных воспоминаний и иных материалов, любезно предоставленных недавно скончавшейся дочерью П.М. Бицилли Марией Петровной (1917–1996), а также мемуаров других родных и близких профессора, нами предпринимается попытка создать первый сводный очерк его жизненного пути<sup>1</sup>. Разумеется, это лишь штрихи к будущей обстоятельной биографии.

---

Бирман Михаил Абрамович – профессор истории, научный сотрудник Института по изучению диаспоры (Иерусалим).

<sup>1</sup> Выражаю горячую признательность Г.Л. Аршу, а также Марии и Манолу Пандевским (Македония), ознакомившим меня с документами из Архива внешней политики Российской империи и соответственно – из архива университета в Скопие. За разнообразную помощь при подготовке настоящей статьи сердечно благодарю коллег из Болгарии (Е.П. Аначкову, супругов Л. и П. Боевых, М. Велеву, Н.М. Дылевского, Х. Манолакева, Г. Петкову), России (В.Н. Топорова, Г.К. Венедиктова, А.Н. Горяннова, Б.С. Кагановича, И.А. Калоеву), США (Н.И. Певцовой и М. Раева), Франции (В.Ю. Макарова), Швейцарии (Н.А. Мещерскую-Галь) и Эстонии (Т.И. Певцову).

Петр Михайлович Бицилли родился 1(13) октября 1879 г. в Одессе. Отец его, дворянин Михаил Фомич Бицилли, был сотрудником банка. Мать – Екатерина Адольфовна Штейнгарт – вышла из состоятельной еврейской семьи, перешедшей в православие [22]. Согласно семейному преданию, далекий пращур отца, капитан Константин Бицилли, был выходцем с Балкан.

В книгах по ранней истории Одессы и в некоторых других публикациях имеются свидетельства об итальянско-балканских либо греческих корнях К. Бицилли [21; 22]. О его албанском происхождении говорят оказавшиеся в распоряжении автора архивные документы [23]. Так или иначе, далекий предок Бицилли, прибывший в Россию в 1770-х годах на корабле флотилии графа А.Г. Орлова, был балканским выходцем. Его потомка, участника Отечественной войны 1812 г., за боевые заслуги произвели в дворянство [22].

Петр рос в обеспеченной дружной семье. Среднее образование получил во 2-й классической гимназии. Прямых источников о той поре жизни у нас почти нет. Лишь чудом сохранились копии 14 рисунков 12–13-летнего гимназиста [24]. Они свидетельствуют о его незаурядном даре рисовальщика. Прототипами и героями портретов и рисунков Бицилли служили итальянский композитор Г. Спонтини (1774–1851), гимназические учителя и ученики, лица разных сословий – офицеры, дамы из общества, священники, городовые, уличные торговки. Портрет оперного композитора – единственный, который нам удалось атрибутировать. По нашему мнению, он свидетельствует об увлечении гимназиста не только рисованием, но и музыкой (оперой).

Характеризуя общую обстановку, в которой рос Бицилли, необходимо отметить особую роль Одессы и ее колорита. Сам город с красивыми улицами и бульварами, выстроенными в шахматном порядке и засаженными каштанами, создавал определенную ауру. Воздвигнутые знаменитыми зодчими многочисленные шедевры архитектуры (оперный театр, здания университета, публичной библиотеки, Думы и др.) воспитывали чувство прекрасного у восприимчивого юноши.

В те годы Одесса бурно развивалась. Она была четвертым по количеству жителей городом Российской империи (после Петербурга, Москвы, Варшавы) и крупнейшим черноморским портом, отличалась смешанным населением и неповторимым языком. В Одессе пульсировали своеобразные, близкие к крупнейшим портам Европы ритм и стиль жизни, отнюдь не провинциальные.

На рубеже нового века, в 1899 г., Бицилли окончил гимназию и поступил на историческое отделение историко-филологического факультета местного университета (он именовался до революции Императорским Новороссийским). Прямых свидетельств о его жизни в университетские и последующие годы почти нет.

Историко-филологический факультет (как и университет в целом) имел неплохую репутацию. На его кафедрах работали в конце XIX в. такие талантливые историки, как Н.П. Кондаков, Ф.И. Успенский (оба позднее стали академиками и приобрели мировую известность) и другие преподаватели высокой квалификации. Одним словом – было у кого учиться.

В 1904 г. Бицилли принял участие в массовых студенческих волнениях, за что был на время исключен (вместе со многими) из университета. В эти же месяцы он отбывал воинскую повинность в Одесской инженерной дистанции [22].

В 1905 г. университет был Бицилли закончен, а сам он оставлен на кафедре всеобщей истории для подготовки к магистерским экзаменам. Это свидетельствует о том, что у него уже сложился интерес к исторической науке. На стипендию университета Бицилли дважды и надолго выезжал за рубеж. В период работы в библиотеках и архивах Италии, Франции (преимущественно Флоренции и Парижа) и Германии молодой исследователь собрал большой материал для докторской диссертации.

Глубоко и с жадностью Петр Михайлович знакомится с архитектурой, живописью и театрами зарубежных городов, углубляет познания в итальянском, французском и немецком языках. Находясь в Италии, как гласит семейное предание, он получает

квалифицированную консультацию у окулиста; тот подтверждает, что Бицилли страдает слабо выраженным дальтонизмом. Так был поставлен крест на юношеской мечте – занятиях живописью [25].

По возвращении в Одессу Бицилли преподает историю в гимназиях (в том числе женской гимназии Видинской) и готовится к магистерскому экзамену, который успешно сдает в 1910 г. в университете Петербурга, после чего избирается доцентом всеобщей истории университета в Одессе.

С юности Бицилли увлекался живописью, театром, музыкой. Одесса славилась знаменитым оперным театром, на сцене которого пели такие талантливые актеры, как Ф.И. Шаляпин и Э. Карузо. В одесской филармонии звучали великолепные симфонические концерты. По словам известного поэта и художника М. Волошина, Одесса в начале века была "... средоточием русской культуры и умственной жизни". Особенно большой интерес проявлял Бицилли в эти и последующие годы к музыке, совершенствуясь в игре на фортепиано.

П.М. Бицилли знакомится с прелестной пианисткой и певицей Марией Тадеушевной (Тимофеевной) Полянкевич. Их сближала не только большая увлеченность музыкой. По словам хорошо их знавших, они оба были людьми благородными, с сильно развитым чувством тонкого юмора, "бесконечно добрыми и деликатными" [25].

Дочь польского дворянина Тадеуша Полянкевича, державшего детей в большой строгости, Мария рано вышла замуж за человека, значительно старше ее. Встреча с Бицилли привела к разрыву с мужем. Знакомство перешло во взаимное увлечение, завершившееся счастливым браком. Петр Михайлович удочерил Аннушку, dochь Марии Тимофеевны от первого брака. В 1917 г. у них родилась дочь Маша. В письме к супругам Бицилли их родственник, выдающийся актер-трагик И.Н. Певцов (Ф.Г. Раневская называла его своим учителем) так обрисовал дух этой семьи: "...Только у Диккенса встречаются такие домашние очаги, как ваш, и такие прекрасные, веселые и бодрые люди, как вы" [26].

Печататься Петр Михайлович начал в сравнительно зрелом возрасте. Первые его публикации появились, когда он перешагнул 30-летний рубеж. Это были статьи, обзоры, заметки и рецензии, обнародованные в научных изданиях Одессы, Петербурга и Москвы в 1912–1915 гг. ([27]; опубликовано в [9]). Обращает на себя внимание многогранность знаний, широта интересов и большая эрудиция молодого ученого: публикации были посвящены истории античной Греции и Рима, раннему средневековью на Руси, религиозной жизни средневековой Италии, философии истории, происхождению исторической науки, воспоминаниям правившего в Германии в начале XX в. канцлера Б. Бюлова и многим иным темам.

В 1916 г. вышел в свет первый большой труд Бицилли "Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII века", через год представленный в Петроградский университет на соискание магистерской степени. Отталкиваясь от анализа хроники францисканского монаха Салимбене и его мироощущения, автор, по сути дела, дал глубокое и оригинальное исследование исторической и социальной психологии средневековья [28. С. XII]. Оппонировали на защите диссертации глава петроградской школы медиевистов проф. И.М. Грэвс и германист филолог Д.К. Петров. Неофициально выступил медиевист Л.П. Карсавин, прославившийся позже трудами по философии истории.

После успешной защиты в мае 1917 г. Петр Михайлович был избран профессором Одесского университета, высших женских курсов и Политехнического института в Одессе.

В общественно-политической жизни, бурлившей в городе с начала революции, Бицилли принимал, по его словам, слабое участие, "ибо был поглощен преподаванием и научной деятельностью"; по политическим убеждениям он "колебался между конституционно-демократическим и социал-революционным (умеренного крыла) направлениями" [22]. Февраль он приветствовал, примкнув к эсерам. Вместе с тем Бицилли не лишен был и предчувствий по поводу разгула революционной стихии. В брошюре "Основы социализма", изданной тогда же, он, прозорливо задумываясь о будущем

России, писал: «...Что, если "экспроприация экспроприаторов" выродится в спорадические грабежи и насилия, завершится расхищением en masse общественного достояния и наступлением "сумерек цивилизации", нового средневековья?» (цит. по: [29. С. 87]).

Бурные годы не помешали ему все же подготовить и издать в Одессе два крупных труда: один в 1918 г., "Падение Римской империи", представлявший собой содер-жательный обзор социально-экономического и политического кризиса античного Рима. Второй, год спустя – "Элементы средневековой культуры" (переиздан в 1995 г. в Санкт-Петербурге), явивший блестящее и оригинальное историко-культурологическое исследование, дающее срез средневековой культуры Европы [28. С. X–XVI].

С 1917 г. для семьи Бицилли, как и для многих других, кончилась эпоха благополучия и безмятежности. Они ощутили это с особой остротой, ибо жили в Одессе, привлекавшей в годы гражданской войны внимание многих внешних и внутренних военно-политических сил. В 1917–1919 гг. власть в городе часто менялась: на смену Временному правительству чередой приходили Центральная Рада, гетман Скоропадский, затем призванные им австро-венгерские и германские войска. С их уходом в конце 1918 г. на рейде появились корабли Англии, Франции и Греции, а в разных районах города властвовали французы, греки, сербы и поляки. С весны 1919 г. в Одессу вступили григорьевцы, а затем подразделения блокировавшейся тогда с ними Красной Армии. Но во многих кварталах фактически хозяйничали (особенно по ночам) отряды анархистов и полукриминальных элементов (типы банды Мишки Япончика). Чека, пытаясь посеять страх, списками расстреливала представителей средних классов.

В августе 1919 г. в Одессу пришли деникинцы, предпринявшие осенью наступление на Москву. Но оно захлебнулось, и войска Деникина спешно отступили в направлении Одессы. В городе положение к зиме стало отчаянным – не было хлеба и топлива. Участились грабежи и убийства. Неминуемый приход Красной Армии не предвещал ничего утешительного старой интеллигенции дворянского происхождения.

Бицилли и его близкие находились в смятении. Знакомые Бицилли – академик Н.П. Кондаков, писатель И.А. Бунин и другие – настраивались на отъезд. Неожи-данно возникла возможность получить крохотную отдельную каюту на пароходе "Рио Пардо", направлявшемся в Салоники. Отправление состоялось 28 января 1920 г. Сборы были короткими. С собой взяли лишь то, что показалось в крайней спешке важным: детские вещи для Маши да минимально необходимое для всех остальных. Отезжающие лелеяли мечту, что уезжают ненадолго.

Перед самым отъездом Бицилли сел за рояль, сыграл любимую "Лунную сонату" Бетховена и затем вышел; но тотчас же вернувшись, воскликнул: "Ну вот и все. Мы уезжаем!" [25]. Так в начале 1920 г., на сорок первом году жизни, Бицилли стал эмигрантом. Взятые с собой ключи от квартиры на Черноморской улице он хранил до кончины. "По Одессе, – вспоминала его дочь, – он очень тосковал в эмиграции, хотя и не говорил об этом" [24].

В феврале 1920 г. семья Бицилли оказалась в захолустном сербском городке Вранье. Здесь она прожила несколько безысходных месяцев, находясь без средств к существованию. Бицилли – как он выразился в одном письме, – "шалел от вынужденного безделья" [16. С. 11]. Наконец забрезжил луч света – ему предложили место в новом университете в городе Скопье (Скопие). Университет еще только создавался, решение о его открытии было принято в Белграде в начале 1920 г. [30]. В Скопье царило запустение – результат пребывания города в зоне почти непрерывных военных действий со времен балканских войн 1912–1913 гг. В городе не было подходящих для университета условий: зданий, библиотеки, пособий, резерва преподавателей [30].

И все же приезд в Скопье к месту работы профессором истории на философском факультете несколько приободрил семью. С ректором университета профессором Остоичем и особенно с его женой черногоркой Еленой ("Экицей"), окончившей

институт в России, установились неформальные, по сути дружеские отношения. После тревожных лет в Одессе и беспросветных месяцев во Вранье семья попала в относительно сносные условия. "...Нам жилось там уютно, – вспоминала дочь Бицилли, – приголубливались мамой бывшие корнеты, подкармливались многие окружающие, оставшиеся без почвы под ногами" [24].

Попав во Вранье и Скопье в новую языковую среду, Петр Михайлович быстро овладел сербским. Он обладал абсолютным музыкальным слухом и феноменальной памятью и легко осваивал новые языки. Лекции и занятия в университете он вел на сербском. Бицилли прочитал несколько разных курсов по всеобщей истории (историю Римской республики, историю нового времени – XVIII–XIX вв. и др.) [30].

Находясь в Скопье, Бицилли установил контакты с рядом эмигрантских изданий за пределами Югославии и напечатал в них несколько статей, заметок и рецензий. В их числе – эссе «"Восток" и "Запад" в истории старого света» и иные публикации в евразийских сборниках. Позже он неоднократно обращался к тематике евразийских изданий и авторов, и в его сочинениях была заметна струя весьма критического отношения к односторонне националистическим (по его мнению) построениям некоторых евразийцев. В 1923 г. в Белграде вышла в свет большая книга Бицилли "Увод у светску историју" – переработанный курс прочитанных лекций, превратившийся в синтетический компендиум по основным проблемам и узловым вопросам политической и культурной истории человечества

Положение в Скопье явно не удовлетворяло Бицилли – не было библиотеки и прочих элементарных условий для научных занятий. Он искал более подходящее место, обращался за содействием к знакомым в разных странах. С начала 1924 г. в университете Софии в связи с отъездом в Москву профессора Э.Д. Гrimма открывается вакантная должность заведующего кафедрой всеобщей истории [14. С. 30].

С марта 1924 г. Бицилли – профессор Софийского университета по контракту, возобновлявшемуся каждые три года. Лекции и занятия он ведет на хорошем болгарском языке. Уже одно это выделяло его среди большинства профессоров из числа русских эмигрантов, производило впечатление на студентов и коллег.

Другое характерное отличие профессора Бицилли – большое разнообразие читавшихся им курсов. Каждый семестр (иногда и чаще) он начинал новый курс, освещая политические или социальные аспекты исторического процесса, либо историю культуры или идей различных узловых эпох и важнейших регионов и стран (включая Россию и США) – от античности до современности [16. С. 17]. Лекции Бицилли пользовались успехом у слушателей, хотя и не были легки для восприятия. На семинарских занятиях – вспоминал один из его учеников Хр. Гандев, ставший позже известным историком, – "царила великолепная атмосфера, предрасполагавшая к свободе мнений" [15. С. 62]. Будучи по натуре человеком доброжелательным, Бицилли приглашал студентов на дом, где охотно их консультировал.

С момента переезда в Софию расширились контакты Бицилли с коллегами в других странах. В первое десятилетие софийской жизни он несколько раз выезжал на короткие сроки в Белград, Прагу, Берлин, Ригу и иные центры для работы в библиотеках. Дважды эти поездки осуществлялись при поддержке университета [12. С. 91]. Бицилли принял активное участие в съездах Союза русских академических организаций за границей (РАОЗ). В 1924 г. в Праге он выступил на III съезде РАОЗ с тремя различными докладами в трех секциях; на IV съезде в Белграде (1928) – с двумя докладами; в 1930 г. в Софии на V съезде РАОЗ вновь с двумя докладами [12. С. 91; 16. С. 16].

Вместе с тем Бицилли испытывал известное чувство интеллектуального дискомфорта [14. С. 37–38]. Оно обусловлено было тем, что почти все хорошо понимавшие его коллеги жили не в Софии, а в Париже, Берлине, Праге и иных центрах, где имелись крупные книгохранилища, удовлетворявшие запросы взыскательных исследователей.

Недостаток общения Бицилли пытался частично возместить перепиской. Он обме-

нивался корреспонденцией со многими известными учеными, писателями и критиками, преимущественно из числа русских эмигрантов. Интенсивную переписку исследователь вел, в частности, со своими старыми знакомыми по Одессе – И.А. Буниным, Н.П. Кондаковым, Флоровскими; обменивался письмами с П.Б. Струве, Г.В. Вернадским, М.А. Алдановым, В.В. Вейдле, Н.А. Оцулем, Н.А. Тэффи, К.В. Мочульским, Р.О. Якобсоном и многими другими [31. С. 135].

Жизнь семьи Бицилли приобрела в Софии более стабильный и налаженный характер. Жена, по мере появления учеников (что случалось довольно редко), давала уроки музыки. Старшая дочь получила место преподавателя в русской гимназии. По отзывам современника, "семья Бицилли отличалась необычайной жизненной скромностью и нетребовательностью и помогала многим нуждающимся" [25].

В 1926 г. Петру Михайловичу удалось перевезти из Одессы мать [14. С. 29]. Прибытие Екатерины Адольфовны обусловило необходимость переезда на новую квартиру. К тому же Мария Тимофеевна испытывала потребность время от времени менять среду обитания и антураж. Поэтому семья в Софии сменила несколько адресов [24].

Образовался у Бицилли и свой круг общения. Среди ближайших друзей была семья профессора Д. Кацарова; у них Бицилли остановились сразу после приезда в Софию. Жена Кацарова, Ольга Nikolaevna, была представительницей известного семейного клана Бакуниных. Ее многочисленные родственники также оказались в Софии, и с некоторыми из них Бицилли был накоротке. Тесные связи установились у него и с семьями профессоров В.А. Мякотина и С.С. Демосфенова, а также с другими русскими эмигрантами (с некоторыми возникли контакты на почве общих музыкальных увлечений). Из болгарских историков наиболее тесные отношения были с профессором П. Мутафчиевым, позже с Х. Дановым, Х. Гандевым и И. Дуйчевым [24; 21. С. 63].

Попытки привлечения Петра Михайловича к общественно-политической деятельности оказались безуспешными. Все же в 1927 г. он был избран главой Ученого комитета Русского народного университета, членом Учебного комитета русской Культурно-просветительской комиссии в Болгарии и неоднократно выступал с публичными лекциями, например, на тему "Русская культура и эмиграция" [17. С. 32]. Не отказывался Бицилли и от участия в деятельности благотворительных комитетов.

Поглощенный наукой и преподаванием, Бицилли вместе с тем проявлял большой интерес к жизни российской диаспоры и к событиям на Родине. По свидетельству дочери, он регулярно читал "Последние новости", ежедневную, наиболее информированную и профессионально поставленную газету русской эмиграции. К ее редактору, своему коллеге-историку П.Н. Милюкову, Петр Михайлович относился с большим уважением.

В творческой биографии Бицилли замечаются перемены, обусловленные отчасти объективной обстановкой – войнами, революциями и т.д. Частично они были вызваны и упомянутыми условиями жизни в лишенных связей с большой наукой Одессе и Скопье. Обозначилась и определенная логика развития самой рассматриваемой творческой личности. Именно в этот период происходит известная кристаллизация философско-исторического мировоззрения Бицилли, методологии исследования им исторических явлений и процессов [28. С. XXII].

Лишенный возможности исследовать, как ранее, темы античности и средневековья с использованием широкого круга источников и литературы, Бицилли склоняется к созданию больших синтетических трудов. На это наталкивают его и раздумья о метаморфозах в окружающем мире, мысли о непредсказуемости и бесконечном разнообразии, многовариантности исторического развития.

Все эти факторы и обстоятельства предопределили своеобразный и до некоторой степени вынужденный отход к теории [16. С. 21, 23]. Он проявился в создании двух фундаментальных исследований. Одно из них, "Очерки теории исторической науки" (Прага, 1925; переиздано на болгарском языке в 1994 г.), – наиболее капитальный и многоплановый теоретико-методологический труд Бицилли, поистине новаторское

исследование назревшей в мировой историографии проблемы исторического синтеза. Примечательно, что в том же 1925 г. в Париже историк А. Берр основал Международный центр синтеза, сыгравший большую роль в создании так называемой школы исторического синтеза. Уже сама синхронность событий дает основание, на наш взгляд, заявить о плодотворности включения упомянутого и многих других трудов Бицилли в глобальный контекст названной школы.

Правда, опубликованная на русском языке книга, к сожалению, не вошла тогда в научный обиход историков Запада. А между тем она наполнена неувядающим богатством идей и тонкими наблюдениями о сущности историзма, развитии исторического мышления от античности до современности, об этапах исторической науки, о смысле и противоречиях исторического процесса, соотношении истории с эстетикой, социологией и т.д. Труд Бицилли – "настоящая школа научного мастерства, истинное торжество исследовательского и человеческого духа" [11. С. 22].

Второй труд Бицилли – "Увод в изучаването на новата и найновата история (опит за периодизация)" (София, 1927; 1993), представляет собой осмысление основных процессов, узловых проблем нового и новейшего времени. Значение названных двух трудов уже освещалось в исторической литературе Болгарии и России [13; 15; 16; 32; 33].

Вопреки трудностям, научное творчество Бицилли развивалось по восходящей линии. Потенциал гуманитария широкого профиля с годами раскрывался все больше, что выражалось и в расширении диапазона исследований. Ярчайший тому пример – написание Бицилли еще одного теоретического исследования, уже в области филологии. Изданное в 1926 г. в Софии "Этюды о русской поэзии" (см. [9. С. 353–482]) – один из наиболее ценных филологических трудов автора, ставший прочным приобретением русского литературоведения и критики [29. С. 88]. Два года спустя им была опубликована еще одна яркая исследовательская работа, получившая высокую оценку И.А. Бунина, – "Проблемы жизни и смерти в творчестве Толстого" (см. [18. С. 210–215]).

Усиление внимания Бицилли к филологическим изысканиям было глубоко органично. Оно обусловливалось его эстетическими увлечениями и внутренней логикой развития представлений ученого об истории. Для него художественные тексты, как и иные элементы духовной жизни, составляли "истинный предмет исторической науки" [16. С. 21–22]. Интерес Бицилли к литературному творчеству как источнику идей, как сфере, отражавшей дух времени, закрепился еще в пору его медиевистических штудий. Позже он получил новые импульсы [14. С. 34–35, 38]. В конце 20-х – 30-е годы этот интерес усиливается. По-видимому, некоторую роль сыграло и такое банальное обстоятельство, как доступность в Болгарии произведений всех русских классиков, включая полные собрания их сочинений.

Новым этапом в филологических исследованиях и публикациях Бицилли явились вышедшие в начале 30-х годов двухтомная "Хрестоматия по истории русской литературы" (София, 1931; Париж, 1932) и "Краткая история русской литературы" (Париж, 1934).

Давнее увлечение Петра Михайловича эпохой Ренессанса и публикация им ряда соответствующих статей увенчались выходом в 1933 г. монографии "Место Ренессанса в истории культуры" (в ежегоднике Софийского университета; далее – ГСУ). Яркое и глубокое исследование получило международный резонанс – в сокращенном виде оно сразу же было опубликовано на французском, а затем на испанском языках [27; 34. С. 195] (книга переиздана в Болгарии и России [4. С. 47–197; 8]). Позже Бицилли неоднократно возвращался к эпохе Возрождения, читал о ней спецкурсы студентам. Им была написана значительная монография о театре эпохи Ренессанса в Италии. Рукопись этого труда, посланная Бицилли перед второй мировой войной для издания в Париж его ученице, литератору Н.Л. Гурфинкель, затерялась. Впоследствии найденный ею перевод труда на французский язык был опубликован в 1995 г. [10].

Большое внимание уделял Бицилли разработке историко-культурных проблем других эпох, в том числе вопросам современной культуры (Франции, Италии и др.) и ее кризису.

Широчайший диапазон исследовательских интересов ученого, его энциклопедическая эрудиция и неиссякающая творческая энергия нашли выражение и в публикации большого числа статей (некоторые часто приближаются к разряду "малых монографий"), эссе, этюдов и миниатюр по самым разным проблемам истории, историографии и преподавания истории. Несколько глубоких работ посвящены, в частности, творчеству ряда корифеев исторической мысли – П.Г. Виноградова, П.Н. Милюкова и др. Множество ярких статей и эссе Бицилли напечатал о значении идей и различных идеинных течений ("толстовство", "фрейдизм", "марксизм" и др.), о роли личности в истории, о значении и историческом месте отдельных персонажей (Игнаций Лойола, Леонардо да Винчи, Н. Макиавелли, Николай I, И.С. Аксаков, М.А. Бакунин, П.И. Чайковский и многие другие).

Следует специально выделить большой пласт многолетней деятельности ученого в области рецензирования. В "софийский" период он систематически печатал обзоры, рецензии и заметки о книгах в многочисленных изданиях русской diáspоры, в научных историко-филологических и специальных славистических журналах Европы. Перечисление названий этих научных, литературно-художественных и общественно-политических изданий Болгарии, Чехословакии, Югославии, Франции, Италии, Германии, США, Испании, Латвии и других, а также изданий эмигрантов перегрузило бы настоящий очерк. Назовем лишь одно из них – авторитетное издание русских эмигрантов "Современные записки", на страницах которого Петр Михайлович многие годы публиковал работы разных жанров и отзывы на книги, он слыл наиболее печатаемым рецензентом в журнале [35. С. 214; 36. С. 56].

Рецензии в творчестве Бицилли – не вспомогательный и проходной, а органичный и важный компонент. Почти каждая – концептуальна, представляет собою небольшую миниатюру, в которой лаконично высказывались оригинальные идеи и наблюдения в разных сферах гуманитарных знаний.

В равной степени Бицилли привлекали как работы по античности и средневековью в Западной Европе и России, например, труды Г. Вернадского, Л. Карсавина, Э. Мейера, М. Ростовцева и других, так и философско-исторические штудии Н. Бердяева и О. Шпенглера; новые произведения маститых (И. Бунина, М. Алданова, А. Белого) и молодых (В. Набокова, А. Штейгер, Д. Кнута) русских эмигрантов, а также иностранных писателей (А. Жида, С. Моэма, Ж.-П. Сартра, Л. Селина); исследования советских филологов и культурологов (М. Бахтина, В. Виноградова, М. Гершензона, Л. Гроссмана, В. Жирмунского, Н. Пиксанова, В. Шкловского) и многое другое [37. С. 31].

Как рецензент, обладавший отменным вкусом, чувством ритма и стиля, огромной эрудицией, взыскательный и всегда корректный, по большей части благожелательный (особенно к молодым литераторам), избегавший комплиментарности и чуждый высокомерия, Бицилли быстро завоевал уважение и авторитет. Многие авторы (особенно из начинающих) сами присыпали ему книги в надежде на отзыв [24; 31. С. 135].

Осенью 1933 г. в жизни ученого наступила очередная полоса трудностей. В сентябре ректорат Софийского университета предупредил его, что с нового года контракт с ним в условиях бюджетного дефицита не будет возобновлен. Профессор по контракту, не имеющий болгарского подданства, "апатрид", как именовались в Европе русские эмигранты, проживавшие всюду по "нансеновскому" паспорту, попадал под сокращение одним из первых.

Петр Михайлович заметался в поисках работы. Он был согласен на любое место – преподавателя русского языка и даже библиотекаря, лишь бы в университетском центре. Готов был он переехать даже за океан и в этой связи обратился с письмами к друзьям и знакомым. Находясь в "подвешенном" состоянии, он читает лекции в университете, не зная, что его ожидает завтра [26].

Неопределенное положение продолжалось более года. Руководство историко-филологического факультета вело затяжную борьбу за возобновление контракта с Бицилли.

Среди коллег ученый пользовался заслуженными авторитетом и уважением. Об этом свидетельствуют неоднократные предложения участвовать в юбилейных и памятных изданиях – в сборниках к 30-летию научно-преподавательской деятельности главы Болгарского исторического общества академика В. Златарского и правоведа академика В. Ганева, по случаю 70-летия президента Болгарской Академии наук языковеда Л. Милетича, памяти известного историка профессора П. Никова и т.д. Он выступал также с проблемными докладами на заседаниях Болгарского социально-философского общества, возглавлявшегося В. Ганевым [14. С. 32].

Бицилли был известен не только среди узкого круга специалистов. Он часто печатался в различных болгарских периодических изданиях. В ежегодниках университета вышли в свет многие его значительные исследования по широкому кругу вопросов – от отношения Руссо к демократии до литературоведческих и лингвистических изысканий. Эти работы обнародовались им на болгарском или русском языках.

Много печатался Бицилли и в других болгарских изданиях, и не только в научных и научно-популярных, но также в литературных и общественно-политических – "Българска мисъл", "Литературен глас", "Философски приглед" и др. В хорошей литературной форме, доступной широкому читателю, он освещал важнейшие историко-культурные проблемы, волновавшие болгарское общество.

Заметим, что в числе публикаций Бицилли в вышеупомянутых и иных изданиях (среди прочих выделим выходившее в Париже "Россия и славянство") было немало специально посвященных болгарской тематике: о русско-болгарских отношениях; о Восточном вопросе и внешней политике России на Балканах накануне и в период Крымской войны 1853–1856 гг.; о роли России и Европы в Восточном кризисе 70-х годов XIX в.; об откликах в Болгарии на творчество А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова; о классике болгарской карикатуры А. Божинове; о талантливом болгарском писателе-юмористе Чудомире и др. [20].

В ряде случаев Петр Михайлович непосредственно сотрудничал с болгарскими коллегами, он выступал в качестве редактора и автора предисловий к изданным в Софии на болгарском языке сборникам о Леонардо да Винчи и Макиавелли. Печатал он и рецензии на книги болгарских авторов. В то же время болгарские ученые (К. Крачунов, Я. Янев и др.) опубликовали отзывы на его труды. Бицилли стал в известной мере частью не только научной, но и духовной, культурной жизни Болгарии [12. С. 92].

Имел, видимо, значение и моральный авторитет ученого, которого считали "небожителем", чуждым мелких страостей и интриг. «...Петр Михайлович, – по свидетельству Н.М. Дылевского, – был "не от мира сего", весь погруженный в научные проблемы, поражая глубиной и оригинальностью своих концепций» [25]. Другой современник следующим образом характеризовал нравственный облик Бицилли: "...Как личность, проф. Бицилли действовал сильно – своей непосредственностью, прямотой и неповторимой деликатностью в отношениях с другими" [38. С. 78].

Все сказанное, вероятно, сыграло свою роль и содействовало положительному исходу длительной борьбы за возобновление контракта: в конце 1934 г. он был заключен вновь [26].

С середины 30-х годов постепенно сокращаются контакты Петра Михайловича с зарубежным миром. Сказывается изменение обстановки в Европе в связи с приходом к власти в Германии Гитлера. Эпизодические поездки Бицилли в 20-е – начале 30-х годов в страны Центральной и Западной Европы почти прекращаются. Переписка, ранее отчасти компенсировавшая дефицит общения с коллегами и писателями, проживавшими в Берлине, Праге, Париже, в предвоенные годы сократилась.

Происходили изменения и в направленности напряженной творческой деятельности. Усилился крен в сторону изучения проблем русской литературы, происхождения и развития русского литературного языка и т.д. Центром исследовательского поиска в этот период стало наследие А.С. Пушкина. Разгадка секретов и тайн его поэзии занимала ученого всю жизнь. В эти годы, особенно в связи с широко отмечавшимся

всей русской диаспорой в 1937 г. столетием гибели поэта, Бицилли опубликовал большой цикл оригинальных работ разного объема и жанра о многих аспектах творчества поэта. Напечатаны они были в "Современных записках" и в других эмигрантских, а также иных изданиях Болгарии, Югославии, Латвии и др. [18. С. 212; 19. С. 63]. Завершило на этом этапе пушкиноведческий цикл трудов Бицилли монографическое исследование (1939) "Пушкин и Вяземский". Опубликовано оно было, как и многие другие его монографии, в ежегоднике Софийского университета (ГСУ. Т. 35).

Наряду с этим все большее внимание уделяет ученый разработке проблем истории и современного состояния русского литературного языка. В ежегодниках Софийского университета публикует он исследования о некоторых глагольных формах, о характере русского языкового и литературного развития и на иные темы. Разрабатывает ученый также и некоторые темы общего языкоznания, ономастики и др.

Как гуманистарий, остро ощущающий биение пульса времени, Бицилли публикует большое число оригинальных статей и эссе по историософии и социологии. Особенно впечатляет его значительный цикл работ о разных аспектах проблемы происхождения и развития наций. Высказанные им новаторские идеи во многом способствовали, например, оформлению социолингвистики как самостоятельной дисциплины современного языкоznания [37. С. 30].

Постоянный интерес Бицилли к истории культуры, общественному и интеллектуальному развитию Европы в разные исторические эпохи дополняется в 30-е годы обостренным вниманием к вопросам кризиса культуры, демократии и парламентаризма. На эти темы он публикует, особенно в канун второй мировой войны, большой цикл статей [16. С. 15].

Среди огромного числа публикаций ученого выделяются его разработки по проблемам славистики. В эту категорию попадают, естественно, многочисленные труды по истории, литературе, языку и культуре России. Сюда же в равной мере относятся и упоминавшиеся исследования Бицилли по болгаристике. Кроме того, Петр Михайлович посвятил ряд работ и другим разделам славистики. В русских эмигрантских изданиях, в болгарской периодике и в славистических журналах Западной и Центральной Европы ("Slavia", "Slavische Rundschau", "Revue des Études Slaves" и т.д.) увидели свет его миниатюры по вопросам полонистики, украинистики и на общеславистические темы [27].

В тревожное время второй мировой войны вместе со всем болгарским обществом семья Бицилли пережила потрясения и катаклизмы, обрушившиеся на Балканы, нападение Гитлера на СССР, вызвавшее брожение в умах русских эмигрантов.

Война принесла известные трудности семье и самому Бицилли. Еще больше суживается круг общения. Почти прекращается переписка с коллегами и знакомыми, проживавшими вне Болгарии. Лишь после войны возобновились с некоторыми из них большей частью спорадические контакты.

Новую струю в устоявшуюся семейную жизнь внесло замужество младшей дочери Марии в 1941 г. и рождение в 1943 г. внучки Наташи. Затем Петра Михайловича стал хороший знакомый дочери (они учились в одной русской гимназии в Софии), представитель родовитой семьи Мещерских – князь Андрей Павлович Мещерский (1915–1992). Позже он являлся хранителем архива Бицилли, первым исследователем его наследия, составителем ценной библиографии его трудов [27].

Несмотря на солидный возраст (осенью 1939 г. Бицилли исполнилось 60 лет), профессорская деятельность ученого в Софийском университете продолжалась все последующие годы на том же высоком уровне и в том же ритме. Как и прежде, он каждый семестр менял тематику лекционных курсов. Свыше половины прочитанных им в эти годы многочисленных курсов были посвящены политической и интеллектуально-культурной истории стран Европы, России и США XIX–XX вв. Всего же за 24 года непрерывной деятельности в Софийском университете он прочитал 78 разных курсов [12. С. 87–88; 16. С. 16–18].

Согласно проведенному профессором М. Велевой опросу большого числа учеников

Бицилли – студентов университета, учившихся в конце войны и в послевоенное время (ныне все они историки-профессионалы, профессора и доктора наук), Бицилли как профессор по-прежнему пользовался большим авторитетом [12. С. 88–90]. За безупречную многолетнюю преподавательскую деятельность он дважды (в 1938 и 1943 гг.) награждался орденами [12. С. 92].

Существенные перемены произошли в жанровой структуре научно-публикационной деятельности Бицилли. Подготовка публикаций для журналов по объективным причинам прекратилась. Почти все периодические издания, в которых он раньше успешно и плодотворно сотрудничал, в годы войны закрылись (после войны большая их часть так и не была восстановлена). Отныне Петр Михайлович сконцентрировал усилия исключительно на монографических исследованиях, предназначенных для выходивших со скрипом ежегодников университета Софии.

Несмотря на все трудности периода войны, результаты научных изысканий ученого по-прежнему впечатляют. В 1940 г. он публикует на болгарском языке в издательстве университета большой синтетический труд "Основни насоки в историческото развитие на Европа" (переиздан в 1993 г.). Названная книга – ценный компендиум основных аспектов и линий исторического и историко-культурного развития от начала христианской эры до современности.

Два года спустя вышло в свет одно из самых аргументированных компаративистских исследований Бицилли "Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа" (ГСУ. Т. 38). Как квалифицированный и глубокий труд о Чехове оно было переведено на немецкий и издано в 1966 г. в Мюнхене и снова переиздано уже на болгарском языке в наши дни [7. С. 218–315; 16. С. 9; 18. С. 215].

В период войны были опубликованы также большая статья «К вопросу о происхождении "Слова о полку Игореве" (по поводу исследования проф. А. Мазона)» и два монографических исследования под непритязательными названиями – "Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка" (ГСУ. Т. 41) (см. [9]) и "Пушкин и проблема чистой поэзии" (ГСУ. Т. 41). Последнюю из названных работ Р.О. Якобсон считал "одним из самых проницательных исследований о Пушкине" [16. С. 9].

В послевоенные годы, в условиях быстро меняющегося в Болгарии режима, Бицилли стремится продолжать в том же ритме свою профессорскую деятельность в Софийском университете, создает новые ценные и капитальные труды. Важнейшее его произведение тех лет – изданная университетом в 1947 г. на болгарском языке книга "История на Русия" – оригинальное сочинение об основных этапах, событиях и явлениях политической истории и общественных движениях с начала XIX в. до 1917 г. Бицилли также публикует в ежегодниках университета ряд новых монографических исследований: "К вопросу о внутренней форме романа Достоевского" (ГСУ. Т. 44) (см. [9. С. 483–549]) и «Заметки о чеховском "Рассказе неизвестного человека"» (ГСУ. Т. 44).

Между тем обстановка в стране становилась все менее благоприятной для научно-преподавательской деятельности ученого. Первый удар он получил от советского посольства: на дважды поданное им (в 1946 и 1947 гг.) заявление о предоставлении советского гражданства он получил отказ [24]. Далее последовали новые тревожные сигналы: в печати появились разносные статьи, критикующие его как "буржуазного" профессора. Завершающий и серьезный удар судьбы последовал в 1948 г.: на 69-м году жизни, по истечении очередного контракта, Бицилли освободили от работы в университете... без пенсии [31. С. 136].

Так после 24-летнего подвижничества и самоотдачи одареннейший исследователь, воспитавший многих болгарских ученых-гуманитариев, остался без средств к более или менее достойному существованию. Ученый большого таланта, творческий потенциал которого далеко не иссяк, лишился, по сути, возможности публиковать свои труды.

Вопреки этим ударам, Бицилли проявляет стойкость и мужество, продолжает работать над новыми исследованиями, фактически в стол. За пять последующих лет

Бицилли подготовил пять трудов на разные занимавшие его темы. Лишь один из них, самый "невинный" по проблематике, под скромным названием "Заметки о некоторых особенностях развития русского литературного языка" увидел свет уже после смерти ученого (ГСУ. Т. 47).

Другие остались в рукописях, ныне хранящихся в архиве у наследников Бицилли. Приведем хотя бы их названия, которые красноречиво свидетельствуют о том, что и в последние годы жизни творческая энергия Петра Михайловича не иссякла (перечень открывают две рукописи, созданные еще в бытность Бицилли профессором, но так и оставшиеся не напечатанными): "Начало русской общественной мысли" (год создания – 1946; подготовлена на русском языке); "История развития социалистических идей в Европе" (1946/1948 г.; на болгарском языке); "Этюд о творчестве Достоевского" (1947/1949 г.; на французском языке); "Литературно-критический разбор переводов Пушкина на болгарский язык" (1950/1951 г.; на болгарском языке); "Заметки о лексических и тематических совпадениях и заимствованиях у русских авторов – классиков" (1952/1953 г.; на русском языке) [16. С. 15].

В пору, когда Петр Михайлович писал эти сочинения, круг навещавших его знакомых сузился до крайности. Но он старался не поддаваться унынию. И работал. Лишь в редкие минуты откровенности с близкими Бицилли признавался, что чувствует себя "затравленным", "человеком за бортом" [31. С. 136].

В ночь с 24 на 25 августа 1953 г. П.М. Бицилли скончался от рака легких. Смерть ученого прошла почти незамеченной. Лишь в журнале "Исторически преглед" был опубликован небольшой некролог, без подписи (написан его учеником Хр. Гандевым).

После кончины Бицилли остались его труды. Нелегкая их судьба до конца 80-х годов в известной мере перекликалась с трагическим концом не получившего при жизни настоящего признания большого ученого. Коснемся вкратце их значения. Естественно, что в настоящем биографическом очерке мы можем лишь обозначить некоторые важнейшие достижения ученого.

Начнем с количественной характеристики. В нашем распоряжении имеется единственная систематическая библиография трудов Бицилли, подготовленная в 1954 г. Проживавший в Софии ее составитель А.П. Мещерский не имел возможности просмотреть *de visu* многие комплекты изданий, с которыми сотрудничал Бицилли. Согласно этой заведомо неполной библиографии, список работ ученого насчитывал 27 монографий (из них 11 отпечатаны отдельными книгами). К ним следует добавить еще пять хранящихся у наследников рукописей подготовленных монографий. Кроме того, выявлено свыше 150 научных статей и примерно такое же число сообщений, заметок и рецензий.

Неизмеримо важнее, разумеется, содержательная сторона опубликованного. Подчеркнем прежде всего феноменальность огромнейшего диапазона разнонаправленных и неизменно глубоких и тонких исследований Бицилли в самых различных сферах гуманитарного знания: в истории, историософии и философии истории, историографии и источниковедении, преподавании истории; в различных областях литературоведения, культурологии, языкоznания, фольклористики, социологии и т.д. Они поражают всякого, кто к ним хотя бы слегка прикоснулся. Представителям многих дисциплин еще предстоит освоить эти большие пласти наследия ученого.

Одним из важнейших творческих достижений Бицилли были, несомненно, его исследования в сфере теории и методологии познания исторических и историко-культурных процессов. В эпоху, когда историческая наука (как и другие) переживала кризис, выразившийся в крайней дифференциации, в вырождении ее в своего рода "микрофию", Бицилли, всегда чуткий к намечавшимся тенденциям, одним из первых занялся поисками основ исторического синтеза. Уже создание им в середине 20-х годов двух крупных новаторских монографий в области теории и методологии исторической науки ("Очерки теории исторической науки" и "Увод в изучаването на новата и най-новата история (опит за периодизация)") обеспечивает ученому прочное место в историографии. В этих работах, богатых концепциями, идеями и ценностями

наблюдениями (прежде всего в области историко-культурных процессов), автор осветил проблемы историзма, исторического синтеза древности, средневековья, нового и новейшего времени.

Бицилли опубликовал также ряд иных ценных обобщающих трудов и компендиумов и несколько эссе и этюдов, освещавших в той или иной степени проблемы теории и методологии исторического познания.

Наряду с этим Бицилли издал ряд первоклассных монографий и большое число исследовательских статей о важнейших эпохах и срезах истории стран Европы и России. Нельзя не отметить увлеченностъ ученого изучением истории культуры (пона-чалу эпохи средневековья), исследованием периодов духовного взлета и интеллек-туальных достижений человечества (особенно эпохи Ренессанса), постижением загадок и тайн наследия гениальных творцов и мыслителей (Леонардо да Винчи, Руссо, Пушкин, Чайковский и др.).

Привлекли его внимание и кризисные, переломные эпохи (падение Рима, крестовые походы, большая серия статей о кризисе демократии и культуры кануна второй мировой войны и др.). Конкретные новаторские идеи, наблюдения и гипотезы во всех этих и многих других исследованиях предстоит еще освоить и оценить специалистам.

Подчеркнем некоторые важнейшие особенности трудов Петра Михайловича по истории, характерные и для всего его творчества. История для него – это прежде всего история человеческой культуры в широком смысле. В первую голову – история человеческого духа и мысли. Поэтому работы Бицилли пронизаны обостренным вниманием к идеям. К тому же почти каждая его значительная публикация – настоящее пиршество оригинальных мыслей и парадоксальных концепций в самых разных областях.

С этим связана и другая отличительная черта трудов Бицилли – они, как правило, интердисциплинарны. Автор неизменно опирается на хорошо известные ему достижения во многих сферах гуманитарных знаний, в которых он великолепно ориентируется. При этом нет ни тени эклектичности: его публикациям присуща своеобразная магия органичного универсализма. Наконец, нельзя не отметить и широту подхода Бицилли к освещению истории отдельных стран и народов. Например, анализируя проблемы истории России, он рассматривает их как часть истории Европы и Азии.

Не менее весом, по-видимому, вклад Бицилли в исследование различных сфер филологии. Его капитальные труды о классиках русской литературы – Пушкине, Гоголе, Толстом, Достоевском, Чехове, отмеченные большим мастерством и проница-тельным талантом, были высоко оценены (см. [9. С. 655–656]). Напомним и о его сводных трудах по истории русской литературы и русского литературного языка, о его эссе и этюдах о крупнейших писателях и молодых талантах русской литературной диаспоры (И. Бунин, В. Набоков и др.), о виднейших литераторах европейских стран.

Важны также исследования Бицилли в сфере языкоznания (в том числе его специальных разделов, таких, например, как ономастика), в области фольклористики, социологии и др.; наблюдения в сфере социолингвистики, geopolitики и иных областях гуманитарных знаний.

Разносторонне одаренный, наделенный тонким, склонным к синтезу умом, неисся-каемым творческим потенциалом, отменным вкусом и большой работоспособностью, мастер виртуозного анализа текстов, Бицилли создал огромное число трудов на высоком профессиональном уровне, с глубоким проникновением в региональную спе-цифику и дух времени. Нельзя не заметить, что эти сочинения превосходно написаны: язык Бицилли отличается богатством красок, тонов и полутонаов, прозрачной ясностью, четкостью; его работы и письма не лишены органичного юмора.

Продолжив традиции русской дореволюционной науки, обогатив и оплодотворив их достижениями мировой науки и общественной мысли, Бицилли создал произведения во многом опередившие время. Он был одним из зачинателей историко-психологических и культурологических методов в русской историографии и гуманитаристике в целом. Одним из первых ученый поднял в эмигрантской прессе вопрос о культуре русской

речи, сформулировав свою теорию речевых ошибок [9. С. 666–668]. Его работы во многом содействовали оформлению социолингвистики как самостоятельного раздела современного языкоznания [37. С. 30; 32. С. 269]. Перечень плодотворных концепций, идей и наблюдений Бицилли, предвосхитивших позднейшие новации, можно продолжить.

Путь почти всех его исследований в большую науку был не из легких. С трудом они попадали в поле зрения зарубежных специалистов, поскольку публиковались в малотиражных эмигрантских или болгарских изданиях. В СССР же многие из них долгие годы были спрятаны в спецхране. Лишь отдельные работы, переведенные в Германию, Францию, Испанию, США, стали интегральной частью мировой науки.

Исследовательская работа по освоению огромного наследия ученого, введению в научный обиход новаторских во многом его произведений находится в самой начальной стадии. Впереди переиздание давно обнародованных, но ставших практически недоступными трудов в форме избранных сочинений и тематически подобранных сборников. Необходимы также дополнительные разыскания и публикация хранящихся в разных архивах (в том числе в частных) рукописей доселе не изданных работ и писем Бицилли.

Назрела необходимость глубокого монографического изучения важнейших достижений и всего наследия выдающегося ученого представителями различных гуманитарных специальностей. В повестке дня также выяснение многих "белых пятен" жизненного пути Бицилли и создание капитального биографического исследования о нем.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бицилли П.М. Избранное / Сост. и comment. Т. Галчевой, Г. Петковой, Х. Манолакева. Предисл. Т. Галчевой. София, 1993. Т. 1.*
2. *Бицили П. Основни насоки в историческото развитие на Европа / Предисл. А. Пантов. София, 1993.*
3. *Бицили П. Увод в изучаването на новата и най-новата история / Предисл. А. Пантов. София, 1993.*
4. *Бицили П. Европейската култура и Ренесансът / Сост. и предисл. Д. Дочев. София, 1994.*
5. *Бицили П. Очерци върху теорията на историческата наука / Предисл. М. Велева. София, 1994.*
6. *Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры / Предисл. Б.С. Кагановича. СПб., 1995.*
7. *Бицили П. Класическото изкуство. Стилови изследвания / Сост. и прилож. Д. Дочев. София, 1995.*
8. *Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры / Сост., предисл. и comment. Б.С. Кагановича. СПб., 1996.*
9. *Бицилли П.М. Избранные труды по филологии / Сост. и comment. В.П. Вомперского и И.В. Анненковой / Ред. и предисл. В.Н. Ярцевой. М., 1996.*
10. *Bicilli P. La théâtre de la Renaissance en Italie // Bulgarian Historical Review. Sofia, 1995. № 2–3.*
11. *Велева М. П.М. Бицили и историческата наука // Бицили П. Очерци върху теорията на историческата наука. София, 1994.*
12. *Велева М. П.М. Бицили в Софийския университет // Минало. 1995. № 1.*
13. *Veleva M. Probléms de la théorie de l'histoire dans l'œuvre de professeur P. Bicilli // Bulgarian Historical Review. Sofia, 1994. № 3.*
14. *Галчева Т. П.М. Бицилли – опыт возвращения / Бицилли П.М. Избранное. София, 1993. Т. 1.*
15. *Гандев Хр. Петър Михайлович Бицили // Векове. 1980. № 2.*
16. *Дочев Д. Петър Михайлович Бицили // Бицили П. Европейската култура и ренесансът. София, 1994.*
17. *Горянинов А.Н. Из забытых "мелочей" журнала "Славянски глас" (1919–1933) // Славяноведение. 1992. № 4.*

18. Каганович Б.С. П.М. Бицилли как литературовед // *Studia Slavica Hungarica*. Budapest, 1988. № 1–4.
19. Манолакев Х. "Пушкин и руският роман" – неопубликованная статья проф. П.М. Бицилли // Болгарская русистика. 1993. № 1.
20. Манолакев Х. Из истории на руската емиграция в България (Проф. Петър М. Бицили и Чудомир) // Летописи. София, 1994. № 11/12.
21. Мутафчиева В. Петър Бицили и Петър Мутафчиев // Летописи. София, 1994. № 11/12.
22. Автобиография Бицилли П.М. // Русская литература. М., 1990. № 2.
23. Архив внешней политики Российской империи. Ф. Сношения России с Турцией. Д. 2308. Л. 224–225; Ф. II-11. Д. 25. Л. 4–5.
24. Письма М.П. Бицилли автору настоящей статьи. В архиве автора.
25. Письма родственников и друзей П.М. Бицилли автору. В архиве автора.
26. Переписка П.М. Бицилли с разными лицами. Копии писем из архива М.П. Бицилли, предоставленные ею в распоряжение автора.
27. Мещерский А.П. Библиография проф. Бицилли. Рукопись. (Копия в архиве автора.)
28. Каганович Б.С. П.М. Бицилли и его книга "Элементы средневековой культуры" // Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
29. Васильева М.А. Бицилли Петр Михайлович // Писатели русского зарубежья (1918–1940). М., 1993. Ч. 1.
30. Документы из архива университета Скопье. (Копии в архиве автора.)
31. Туниманов В.А. П.М. Бицилли. Статьи: История. Культура. Литература // Русская литература. 1990. № 2.
32. Каганович Б.С. П.М. Бицилли как историк культуры // Одиссей. М., 1994.
33. Пантов А. Завръщането на професор Бицили // Бицили П. Увод в изучаването на новата и най-новата история. София, 1993.
34. Каганович Б.С. П.М. Бицилли как историк средневековой и ренессансной культуры // Возрождение и средние века. М., 1992.
35. Раев М. Россия за рубежом. М., 1994.
36. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1984.
37. Анненкова И.В. Эссеистика П.М. Бицилли // Русская речь. 1994. № 1.
38. Гандев Хр. Историкът и историята // Векове. 1978. № 2.



© 1997 г. ЗЕЛЕНКА М.

## РОМАН ЯКОБСОН И СЛАВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖВОЕННЫХ ЛЕТ (ПО ПОВОДУ ДИСКУССИЙ О ХАРАКТЕРЕ И ГРАНИЦАХ ПОНЯТИЯ "СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ")

Историки Пражского лингвистического кружка отмечают факт сдержанного отношения структуралистской школы к славистическому литературоведению, в частности к компаративистике, которое синекдохически включало в себя изучение в духе "теории влияния" фольклора славянских народов [1]. Если Я. Мухаржовский разрабатывал свою структуралистскую эстетику на материале чешской литературы, то позиция лингвистов в Пражском лингвистическом кружке была иной: они склонялись к точке зрения, согласно которой объективное исследование славянской общности возможно лишь в области языковых различий и аналогий; барьер недоверия преодолевал только компаративистски настроенный Ф. Вольман (ср. монографии Ф. Вольмана [2]). В тезисах Пражского лингвистического кружка, представленных на I Международном съезде филологов-славистов в Праге (1929), также подчеркивалась языковая основа славистических исследований, направленность, сущность и рабочие методы которых с начала XIX в. служили предметом острых дискуссий<sup>1</sup>. Как более широкая концепция неспецифической славянской филологии, которую обрисовали О. Гуер и М. Мурко в редакционном предисловии к первому выпуску "Славии" [4], так и более узкое понятие сравнительной науки о языке, которое позже было близко Пражскому лингвистическому кружку, вытекали из естественного процесса разделения некогда целостной классической филологии, разветвлявшейся на частные "современные" лингвистические школы; в то же время они исходили из теоретического положения И. В. Ягича, который исключал все, что выходит за рамки языковой сферы, или же художественной и фольклорной словесности [4]. Несмотря на то, что в чешском контексте в целом преобладало данное Мурко определение славянской филологии как изучение "славянства с точки зрения тех аспектов, которые являются предметом филологических наук в широком смысле этого слова, т.е. славянская лингвистика, история литературы, древности и этнография, древняя и культурная история, насколько они соприкасаются с филологическими дисциплинами" [5], в рамках филологического понимания чешской межвоенной славистики существовали различные взгляды на соотношение языковой и литературной составляющей славистических исследований. Особенно актуальным был вопрос, представляют ли собой славянские литературы ценностную и эволюционную данность, которую можно изучать по прин-

Зеленка Мишель – канд. филол. наук, научный сотрудник Славянского института Чешской АН (Прага).

<sup>1</sup> Эти дискуссии подробно комментировались в специальной литературе. Обобщенную информацию о них дают, например, [3].

ципу аналогий так же, как генетически родственные славянские языки [3]. Чешские слависты только после 1918 г. с более глубоким пониманием смогли отреагировать на тот исторический сдвиг, который с начала XIX в. обладал своей специфической динамикой и был тесно связан с трансформацией предмета, изучаемого славистикой как комплексной дисциплиной. Скептицизм Р. Якобсона был обусловлен тем, что в традиционной филологической паре несомненно славянский характер имеет язык, тогда как о понятии "славянские литературы" велись и ведутся дискуссии. Вопрос, который рассматривал Якобсон, звучал так: существует ли вообще этот термин как научно состоятельный, не идет ли, возможно, речь о романтической фикции, конструкции мифотворческого XIX в., "весны народов"?

Само понятие "славянские литературы" имеет, в принципе, два значения: 1) группа литератур, написанных на славянских языках, 2) комплекс родственных литератур, связанных не только генетической языковой основой, но также и историей, и "loci communis" культуры, духовной жизни и национального мышления. Уже в этой диахронии заключена главная проблема: названия большинства славистических организаций скорее подчеркивают, что славянские литературы – это механическое объединение литератур, написанных на славянских языках. И пусть даже корни так называемых славянских литератур уходят в древнейшие периоды праславянского языкового и культурного единства, их проявления обычно связываются только с концом XVIII и особенно с XIX в. Славистически ориентированные работы Якобсона 30-х годов в своем подтексте поднимали вопрос о смысле общеславянского наследия, т.е. славянских литератур, который соотносился в общественном сознании с идеями славянства, славянофильства и панславизма, инициированными просветительской наукой и особенно романтизмом [6; 7]<sup>2</sup>. Значительная часть этих идей возникла в период чешского и вообще славянского национального возрождения. Оппоненты существования славянских литератур критиковали прежде всего мифологизацию проблемы. Понятие "славянские литературы", однако, устояло и в период позитивизма, не потеряв значимости даже тогда, когда преобладали морфологические школы, к которым программно причислял себя Роман Якобсон.

Наглядным примером стали научные публикации "Словесность славян" (1928) и "К методологии славянской сравнительной словесности" (1936) Ф. Вольмана, который попытался создать специфическую модель славянских литератур, основанную на морфологическом (эйдологическом) принципе. Единство славянских литератур восходит к цивилизованным корням средиземноморской области, и с этим связана критика Вольманом деления на Восток и Запад: славянские литературы являются неразрывной составной частью европейского литературного творчества. Источниками вдохновения для славянских литератур, по его мнению, служат особая концепция христианства и духовные искания периода реформации (богомильство, духовный индивидуализм, теократические устремления, дуализм добра и зла, внутренняя этическая религиозность). Морфологические исследования и поиски формальных связей могут, по мнению ученого, преодолеть барьеры идеологизации и культурологии. С этой точки зрения он рассматривал и традиционный антагонизм самых больших славянских литератур – русской и польской – не как одно только противоречие, но еще и как пример близости и взаимного обогащения. Вольман также затронул общую основу славянских литератур, которая заключается во взаимопроникновении устной словесности и письменно зафиксированной литературы: он говорит о том, что в славянских литературах была разрушена "китайская стена" между устной словесностью и литературой. Аналогично и Якобсон часто отмечал, что западные славяне, которые в прошлом и настоящем ориентировались больше на романо-германский мир (это было обусловлено религией и историей), иногда забывают об общих славянских корнях, которые позволяют глубже понять эволюционные процессы, происходящие у южных и восточных славян [8].

<sup>2</sup> Из-за недостатка места мы приводим здесь только основные работы.

Спор, касающийся близости или отчуждения славянских народов, особенно обострился в период так называемой "весны народов" и проявился в "славизмах и антиславизмах", о чем Вольман писал в своей последней книге [9]. В понятии "словесность", которым он оперирует, последовательно отражается единство устной и письменной традиции, слияние звука и буквы, слова произнесенного и написанного. Там, где в литературе славян были "пробелы", и источником вдохновения для них служили другие литературы, они могли опереться также на обширный слой устной словесности. В 30-е годы в ходе полемики с противниками славянских литератур Вольман обратил внимание на то, что в концепциях русских исследователей XIX в. русская литература часто отделяется от других славянских литератур (А. Пыпин). В русской литературе более позднего времени заметно тяготение к мессианской роли России и русской литературы в евразийстве, которое опирается на работы Н. Данилевского "Россия и Европа" (1871) и Н.С. Трубецкого "Европа и Человечество" (1920). Именно в концепциях Трубецкого вновь появляется понимание славянских литератур как оппозиции преобладающему романо-германскому комплексу; сильно звучит оно и в переписке Трубецкого и Якобсона [10]. В отличие от тогдашних представлений Якобсона, согласно которым русская большевистская революция – народное движение, объединяющее расы и нации, Трубецкой считает эту революцию типичным продуктом романо-германской цивилизации, в то время как славяне вообще и особенно русские должны создавать переходную зону между Европой и Азией. Термин "славянство" в этой связи в мистической теории евразийства Трубецкого считался лишь интеллектуальной конструкцией филологов, а ни в коей мере не отражением политico-географического целого, объединенного историософски или благодаря культурно-психическим архетипам. Наоборот, функцию политически доминирующего звена в комплексе славянских государств Трубецкой отводил России, идеально и территориально соединяющей европейскую и азиатскую части в новое, более высокое единство.

На протяжении 30-х годов Якобсон постепенно корректировал свою прежнюю радикальную позицию: основную аргументацию об исторической роли славян и прежде всего русского элемента в славянском мире он объективизировал в так называемой "теории моста", т.е. представления о Чешских землях как о географическом и идеальном перекрестке разнообразных художественных влияний Запада и Востока [11] (ср. также [12]). Идея культурного синтеза отвечала программе Пражского лингвистического кружка, который оценивал творческую трансформацию чужого импульса и его модификацию в воспринимающей среде не как проявление эпигонской зависимости, а как функциональное дополнение пробелов в развитии. Не случайно Якобсон в своей работе "Значение русской филологии для богемистики" (речь шла о расширенной публикации вступительной лекции, которой учёный открыл контрактную профессуру в Университете Масарика в 1937 г.) выбрал более широкие славистические темы, анализирующие чешское культурное развитие в свете русской науки [13]. Помимо фактографического обзора, свидетельствовавшего о комплементарных отношениях в церковнославянском, гуситском периодах и во времена Чешских братьев, Якобсон сосредоточил сравнительный анализ на вопросе общего наследия русской и чешской культур и их взаимного влияния, особенно на поиске релевантных элементов, отличающих чешскую культуру от западной.

Якобсон сформулировал "теорию моста" как изменчивого и противоречивого единства дивергентного и конвергентного развития: положение Чешских земель он геополитически определил как равновесную и гибкую позицию "между двумя противоположными гравитационными центрами" [13, S. 233], причем историческая возможность выбора степени притяжения и отклонения от этих центров позволяет осуществить отличающийся своеобразием культурный синтез и тем самым создает "императивные предпосылки для известного лозунга: ни Запад, ни Восток" [13]. Славянские государственно-этнические образования (интересна здесь нетипичная для Якобсона элиминация чисто лингвистических критериев в историко-культурной коммуникации, поскольку рецептивная релевантность культурного импульса как будто бы

задана главным образом идеяным и географическим родством, а потом уже языковым) Якобсон разделил, осознавая известную схематичность такого разделения на односторонние (Польша, Болгария, югославянские государственные образования) и двунаправленные (Чешские земли и Россия). Принципиальное различие между ними он усматривал в способности создавать экспортные ценности – в Чешских землях Якобсон относил к таким импульсам кирилло-мефодиевскую образованность, готическую культуру, идеологические элементы гуситского движения и движения Чешских братьев, а также живую традицию национального возрождения. В этом просматривалась явная лингвистическая аппликация метода языковых функций к истории науки: иррелевантность факта генетического происхождения, но акцент на его структурной трансформации, т.е. функции, вытекающей из иерархии воспринимающей системы. По этим причинам "свообразие школы проявляется в выборе новых идей и в соединении их в системное целое" [14].

Подобным образом в монографической работе "Древнейшие чешские духовные песни" (Прага, 1923) Якобсон на примере церковнославянского периода в чешской истории последовательно проводил мысль о том, что «если чешское художественное произведение отклоняется порой от западного канона, то из этого факта опасно каждый раз делать вывод о "непонимании и неискусном подражании"... [15, S. 42]. Чешская земля издавна являлась ареной, на которой соприкасались и сталкивались противоположные влияния и интересы». В связи с этим появилась мысль, которую ученый потом часто развивал: насильтвенное прекращение церковнославянской письменной традиции со стороны Запада было первым трагическим сломом естественной эволюционной преемственности, который характеризует историю чешской культуры [15, S. 27].

Если так называемая "теория моста" стала абстрактной доктриной Пражского лингвистического кружка, то в юбилейной статье "Десять лет Пражского кружка" его председатель В. Матезиус выдвинул концепцию "обоюдного заимствования и отдаления" [16], как идеала любой славянской идейной коммуникации и научной взаимности. Впоследствии она стала теоретической основой сборника "Что дали наши земли Европе и человечеству" (Прага, 1940 / Под ред. В. Матезиуса). В начале нацистской оккупации этот сборник был важным свидетельством чешской экспансии "в европейском обмене культурными ценностями" [17]. Две работы Якобсона – обширная "Чешский вклад в церковнославянскую культуру" и "Чешское влияние на средневековую польскую литературу" (опубликованы уже под псевдонимом "Олаф Янсен") – критически отвергали тезис о том, что средневековое чешское пространство являлось политически зависимым и вторичным в культурном отношении элементом "влияния" западоевропейской цивилизации [9]. Открытая полемика с нацистской наукой, принижавшей своеобразие и самостоятельность славянских культур, затем проявилась в написанной в эмиграции монографии "Мудрость древних чехов" (Нью-Йорк, 1943), которая имела на первый взгляд публицистический и агитационно заостренный подзаголовок "Исконные основы национального сопротивления", но при этом сочетала в себе историческую точку зрения на развитие чешской идеологии с типологическим перечнем ее основных признаков. Якобсон прежде всего критиковал неуважение к собственным традициям; идейный вклад Чешских земель он видел в творческой трансформации и органическом слиянии различных западных и восточных влияний.

Интересным в данном случае остается то, что в конце 60-х годов Якобсон отказался от переиздания этой монографии, потому что осознавал определенную "противоречивость" эксплицитно выраженной антинемецкой позиции, связанной с тем, что текст создавался в эмиграции, в трудной для него, как человека и ученого ситуации<sup>3</sup>. Очевидно, что реминисценция Я.А. Коменского, выраженная в названии, означала четкую идейную позицию в споре о смысле чешской истории, о чем,

<sup>3</sup> Это мнение высказал И. Осолсобе в своем эссе-вспоминании, прочитанном на конференции [18]; см. сборник [19].

в частности, свидетельствовала и полемика вокруг данной монографии в среде чехословацких эмигрантов в Америке. Я. Легар конкретизирует позицию Якобсона как обусловленную временем фазу развития одной из линий научных поисков исследователя, который демонстративно поддерживает положения Ф. Палацкого о самобытности чешского развития, а также как логическую критику философа Э. Радла, историка Й. Пекаржа и голловской позитивистской школы, усматривавшей корни отечественной культуры в западной цивилизации. И если для Якобсона здесь методически важным является выдвижение на первый план актуальности понимания истории как нравственного корректива современности, как определенной предвосхищающей конструкции, то можно согласиться с Я. Легаром, что "данное Якобсоном понимание принадлежности чешского литературного Средневековья к славянскому миру ждет своего критического пересмотра" [20]. В нынешней научной перспективе тезис о непрерывности кирилло-мefодиевской культурной традиции становится весьма относительным благодаря новейшим исследованиям, подтверждающим, например, большую интенсивность чешско-немецких литературных связей в Средневековье.

С. Вольман в статье "Славянская филология – 1992" [21]<sup>4</sup> отметил неизвестную у нас работу Р. Якобсона "The Kernel of Comparative Slavic Literature" (1953), в которой ученый подытожил теоретические взгляды, связанные со сравнительным исследованием славянских языков и литературы, а также сформулировал собственный вариант научного спора и его возможного разрешения [22]. Якобсон заметил, что заманчивое с научной точки зрения постулирование "особой славянской культуры", т.е. общего языкового и литературного наследия (А. Мейе, Н.С. Трубецкой, И. Бодуэн де Куртенэ и др.), было связано отчасти с субъективизмом политически мотивированных подходов (А. Брюкнер), отчасти с недооценкой эстетической функции языка для сравнительного исследования славянских литератур, в рамках которых значимость вопросов, связанных с поэтикой и верификацией, традиционно занижались. В соответствии со своей лингво-семиотической ориентацией, Якобсон в 50-е годы считал язык и языковую близость "единственным, необходимым, объективным признаком славянства" [22, S. 62]; при этом, завершая свои рассуждения о литературной составляющей славистики, он подтвердил существование общей системы сравнительной славянской литературы, которая хоть и не может заменить отдельные национальные литературы, но становится их естественной основой.

Положительный взгляд Якобсона на литературную составляющую славистики, эксплицированный в работе "The Kernel of Comparative Slavic Literature", который парадоксальным образом соединялся у него с критикой первыми высказавших это мнение Н.С. Трубецкого и И. Бодуэна де Куртенэ, трудно понять без уяснения ситуации 20-х годов, когда молодой ученый только вступал в сферу чешского литературоведения и исходил из ригористических лингвистических позиций, часто остро критически нацеленных против появившихся ранее научных методологий. К радикализму Якобсона, однако, в начале 20-х годов добавлялось желание слиться с чешской научной средой как таковой (не только с методологически новаторским протоструктуралистским ядром, но и с более официальным и многочисленным направлением чешской славистики и компаративистики, ориентированным в основном позитивистски), которая видела в Якобсоне как магистре Московского университета информированного представителя современной славянской филологии России.

Именно русское "славяноведение", в отличие от ягичевского понимания этого термина – более узкого, филологического, характеризовали многодисциплинарный, включающий весь комплекс общественных наук, масштаб изучения славянских народов, современная модификация концепций "славянской взаимности", которая наиболее ярко была сформулирована в трудах В.И. Ламанского и его ученика К.Я. Грота, и подразумевала постижение "национального духа" славян, или историко-культурную

<sup>4</sup> На эту основополагающую работу мы ссылаемся и в последующих рассуждениях, одновременно пытаясь развить некоторые ее положения.

типовому славянской цивилизации в прошлом и настоящем [23]. Некрологи, написанные Якобсоном о видных русских славистах А.А. Шахматове и В.Н. Щепкине, которых он знал лично как своих университетских преподавателей и которые были продолжателями этой традиции, свидетельствовали об известном "приспособлении" раннего радикализма исследователя к чешскому контексту [24]. Если в некрологе о В.Н. Щепкине Якобсон выразил сожаление в связи с тем, что уходит сильное поколение русских славистов, то в большой статье о профессоре Шахматове, первоначально написанной на русском языке 28 августа 1920 г. (это была первая работа, возникшая по приезде в Чехословакию), он положительно отмечает разностороннюю деятельность Шахматова и его роль как одного из основоположников славянской филологии, древнерусской истории, этнографии и исторической географии, а также энциклопедические труды "Разыскания о древнейших русских летописных сводах" и "Очерк древнейшего периода истории русского языка", в которых, по мнению Якобсона, славянство "не могло быть для Шахматова мертвой формулой, музейным экспонатом" [25]. Призывающее обращение Якобсона к чешским славистам, которые "больше, чем где-либо, знают и чтут имена звезд славянской культуры" [25], несколько сглаживало естественное недоверие молодого ученого к чрезмерному историзму младограмматически ориентированных филологов ("Кто долго и пристально взглядывает в прошлое, тот часто становится слепым в настоящем" [26]).

На специфичность условий, в которых существовала русская наука, и особенностей ее развития (прежде всего классической филологии) Якобсон систематически указывал и позже, в частности, в статье "Общий язык культуры", где высказался по поводу культурно-политических консеквенций во взаимных отношениях между советской и западной наукой [27]. Неблагоприятное состояние русской филологии, в том числе славянской, сложилось будто бы в результате невнимания к традиционной гуманистической преемственности и постоянной склонности отечественной мысли к историческому гегельянству. На предпочтение исторических дисциплин языковедению и литературе в русской славистике повлияла и государственно-административная система управления наукой в geopolитически пространной царской империи, а затем в Советском Союзе. Согласно Якобсону, позитивный поворот в развитии филологических областей связан со стремлением молодой советской науки преодолеть мистико-романтическую глобальность и позитивистскую атомизацию. "Наша современность ищет синтеза: она не хочет упускать из поля зрения общий смысл, закономерную структуру происходящего, но учитывает при этом большой запас фактов, который накопила предшествующая эпоха" [27. S. 110]. Последующее развитие советской филологии должно быть связано со стремлением к взаимной циркуляции культурных импульсов, к их функциональной трансформации с учетом воспринимающей среды, причем без каких-либо идеологических барьеров [27. S. 111]. Интересно, что в подтексте заключительного призыва Якобсона к поиску общего культурного языка между чешской и советской славистикой на фоне парадоксального согласия с цитируемой речью Сталина на XVII Съезде ВКП(б) (1934), заключалась не только научно обосновываемая аргументация натурализированного русского в чешской среде, но прежде всего скрытый выпад против немецкой славистики, которая отдавала предпочтение geopolитическим критериям расового происхождения и теории оплодотворяющей "Hochkultur" в отставшей от цивилизации Восточной Европе.

Несколько иную точку зрения на состояние и перспективы славистических исследований в Советском Союзе Якобсон сформулировал в специальных работах в начале 30-х годов. В итоговой статье "Slavische Sprachfrage in der Sovjetunion" он упрекал академические и университетские учреждения в низком теоретическом уровне славистического языкоznания, которое пренебрегало исследованиями лексики и диалектологии восточнославянских языков [28]. Преодоление недостаточного внимания к расщепленной норме литературного русского языка Якобсон увязывал с планомерным и искусно направляемым отбором языковых средств, которые нацелены на строгое

выравнивание и единство литературного языка; тем самым, по мнению ученого, одновременно повышалась возможность жесткой языковой экспансии и идеологической пропаганды в сфере элементарной коммуникации государства и граждан. И если в области славистического языкоznания Якобсон не отметил ни одной особо значительной обобщающей работы, то в литературоведческой сфере он констатировал всестороннюю популяризацию классического наследия, в котором по традиции основное внимание привлекало изучение народной поэзии, интердиалектичность фольклора как результата коллективной селекции<sup>5</sup>. Именно эта тесная связь письменности и народной поэзии была, по его мнению, характерной инвариантной чертой истории русской литературы от "Слова о полку Игореве" до авангардной советской лирики.

Традиционные контакты с русской славистикой в послевоенной Чехословакии (практически с 1914 г.) были прерваны. Тревожное состояние информационного вакуума между западной и восточной славистикой в области исследовательских методов, проектов и целей особенно ощущал редакционный совет только что созданного журнала "Славия", который предложил Р. Якобсону и его коллеге П. Богатыреву написать сообщение о славянской филологии в России 1914–1921 гг. [6]. Фактографически насыщенная статья, которая была подготовлена для первого номера, в духе заявления, сделанного Гуером и Мурко во введении, рассматривала славистику в самом широком смысле слова: как конгломерат различных дисциплин, связанных славянским аспектом в единое целое. Композиционное членение работы на наиболее объемную лингвистическую часть, включавшую также и исследования поэтического языка, и часть, посвященную фольклору и этнографии (отражение фольклора в современной русской литературе, былины и исторические песни, духовные и лирические стихи, легенды и сказки, народный театр), в том числе и материальной культуре, не оставляло места для славистического литературоведения, вкрапления которого обнаруживались в лингвистической части.

Понимание Якобсоном славянской филологии исходило, в соответствии с концепцией Мурко, из тезиса Ягича о необходимой роли языка как объективной основы разнообразных форм духовной культуры славян. В написанном Якобсоном разделе о новой лингвистической дисциплине, занимающейся изучением поэтического языка, исследователь обрисовал основы формального метода и кратко изложил программу, аналогичную программам Опояза и Московского лингвистического кружка [6. S. 457–460]. Различие между ними он усматривал только в выделении автономности эстетической функции, которую представители Опояза, в отличие от Московского лингвистического кружка, отказывались абсолютизировать и, кроме того, связывали с социологическим обоснованием развития художественных форм, при этом допуская, что генезис нового поэтического мотива не обязательно должен быть результатом умышленной деформации языкового материала.

В отличие от более узкого понимания славянской филологии, определение которой было дано Пражским лингвистическим кружком в одобренных "Предложениях Устава для съездов филологов-славистов" 1929 г., победило более широкое определение Мурко, которое подразумевало под славянской филологией историю славянских литератур, в том числе фольклора, славянское языкоznание, а также их методически-дидактический аспект, включающий обучение языкам и литературам в средних школах [29]. Родственные научные дисциплины, такие, как материальная культура, этнография, история культуры, мифология и т.п., должны были быть включены в программу съезда, но со строгим отказом от политических вопросов в той мере, в какой они непосредственно касались славянских литератур или лингвистики [29]. Вместе с тем, выдержанное в этом духе вступительное слово Мурко, которое было обращено к съезду филологов-славистов, а не филологов-славян, характеризовалось тем, что оно включало набросок синтетической конструкции, т.е. идеи сотрудничества в области

<sup>5</sup> Якобсон особо выделял монографию русского слависта Н.И. Кравцова "Сербский эпос" (1933), в которой интерпретация южнославянской эпической поэзии перекликалась с традицией русского изучения былин.

образования и культуры между Западом и славянским Востоком [30]. Эта направленность, впрочем, отвечала официальной линии чехословацкой внешней политики по славянскому вопросу, испытавшей влияние философской концепции Т.Г. Масарика, под идеяным патронатом которого прошел первый славистический конгресс в Праге. Масарик понимал современное общественное развитие как постоянную борьбу гуманных идеалов демократии и тиранически-абсолютистского монархизма. Он включал национальную и социальную эмансипацию славянских народов XIX в. (кроме России с ее особым положением) в сферу влияния западного гуманизма, который по своей сути отвергал идеологические спекуляции в виде панславизма, славянофильства или шовинистического мессианства. Масарик считал, что славяне, как целое, являются автономным "организмом" группы народов, отличающихся собственным языком и историей, национальной литературой и специфическим духом славянского самосознания, которое проявляется только по отношению ко всему славянскому организму в целом, и которое с лингвистической и интеллектуальной точек зрения связывает славянские народы более тесным образом, чем народы романо-германского комплекса<sup>6</sup>. В этом свете было очевидно, что своеобразное Мурко абстрактное понимание славянской филологии, опиравшееся на "гуманные идеалы" Масарика, было нацелено скорее на область практические и утилитарно ориентированной славистики, на организационные и культурно-политические задачи, но не ставило перед собой более принципиальных вопросов специальной методологии, как это делала группа молодых славистов из Пражского лингвистического кружка, в том числе Якобсон, который на рубеже 20–30-х годов подвергал сомнению существование славистики как гносеологически познаваемой системы с однозначно определенным предметом и методами исследования.

Публикации Якобсона в начале 20-х годов, включавшие не только специальные работы, но и популярные статьи, посвященные темам культуры, укрепляли его авторитет в чешской среде. В конце 1924 г. он стал временным референтом по печати советского представительства. Он ушел с этой должности 1 ноября 1928 г., когда у него появилась возможность работать в редакции специального журнала "Slavische Rundschau", официальном периодическом издании по славянскому языкознанию немецкого университета в Праге. Годом позже он был избран действительным членом пражского Славянского института. Работа в периодическом издании по славянской филологии соответствовала научному профилю Якобсона, в котором доминирующий лингвистический аспект соединялся с интересом к специфической "литературности" словесных текстов; кроме того, она отвечала укоренившейся в чешской славистике традиции, которая опиралась на ягичевскую филологическую концепцию специальности. Однако к традиционной славистике, в колларовском духе изучавшей идею славянской взаимности, Якобсон относился критически: его отказ подчинить литературоведение славянской филологии был связан с убеждением, что славянские литературы как целое – это чисто умозрительная и идеологическая абстракция без твердой гносеологической основы, с неопределенным методом и предметом исследования. В этом смысле на Якобсона повлияла работа польского языковеда Бодуэна де Куртенэ "Czy istnieje osobna kultura słowiańska?", в которой указывалось, что общность славян можно объективно изучать только в области языковых аналогий; интерпретация литературных конвергенций и соответствий между славянскими литературами остается фикцией и в совокупности представляет собой дополнительное и типологическое соединение разнородных элементов, между которыми нельзя предполагать более тесной генетической зависимости [33]. Взгляды Бодуэна подкрепила работа польского слависта В. Ледницкого "Existe-t-il un patrimoine commun des Études Slaves?", подвергшая сомнению славянскую культурно-психологическую тождествен-

<sup>6</sup> Более подробно Т.Г. Масарик изложил эту концепцию в [31]. Далее ср. доклад об "организме" славянских народов, прочитанный в Париже 22 марта 1916 г. и опубликованный под названием "Svět a Slované" [32].

ность вследствие конфессионального раскола на мир византийский и католический [34]. Языковое родство славянских народов представляет собой единственную объективно постижимую структуру, которая может быть подвергнута научным сравнениям. В статье "Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik" Якобсон иронически реагировал на громкие проявления "гей-славянской" риторики, содержавшиеся в семантически неопределенных понятиях типа "славянская весна", "славянское чувство", "славянство" и т.п. [35]. В соответствии с позицией Бодуэна он указывал на объективно данную, генетически возникшую языковую основу общности славян, которую, конечно, нельзя переносить на общую традицию, resp. на идентичные психологические, антропологические, этнографические, а также историко-литературные признаки славян.

Сkeptицизм и сдержанное отношение Якобсона к общему предмету славянских исследований, который, помимо филологических дисциплин, включал бы в себя и изучение исторического развития славянских народов, отражение их идейной взаимности в мышлении, отличались от общепризнанной позиции французского слависта Андре Мазона, который в статье "Le patrimoine commun des Études Slaves" (1924) программно выдвинул в духе традиций французской славистики (Э. Дени, Л. Леже, А. Мейе и др.) необходимость дисциплинарно единого славистического исследования [36]. Политически мотивированная позиция, отражавшая антинемецкие настроения во Франции после первой мировой войны, обосновывала объективную потребность в научном изучении всестороннего культурного единства славян, на равных правах соединяющего историю славянской взаимности со сравнительной славянской грамматикой и литературой. Критическое отношение Якобсона к пониманию славистики у Мазона имело более глубокие корни: уже в первой работе, опубликованной в Чехословакии, – "Влияние революции на русский язык" – молодой ученый корректировал взгляды Мазона, изложенные в книге "Lexique de la guerre et de la révolution en Russie" (Paris, 1920). Он констатировал, что французская попытка систематизировать и интерпретировать языковые изменения, связанные с войной и русской революцией, – главным образом на лексическом уровне – имеет свою научную обоснованность, однако он конкретно указывал на "некоторые неточности", прежде всего ограничение собранного языкового материала 1918 годом, когда вновь образованный словарный запас находился еще в динамичном движении: "Военный период, а также первый год революции не были с точки зрения процесса, происходящего в словообразовательной системе языка, непосредственно известны Мазону. А потому он часто, не зная самого процесса, констатирует его готовые результаты, на основании которых только с помощью догадок реконструирует сам процесс" [37]. По этой причине Мазон "бывает вынужден искать объяснений в другом месте" [37]. Подобным образом Мазон в своей краткой рецензии на раннюю монографию Якобсона "О чешском стихе", опубликованной в авторитетном издании "Revue des Études Slaves" (1923), критически коснулся собственно научной ценности представленной работы: "Автор не дает ни истории, ни даже точного описания разных типов стиха, которые предлагает чешская поэзия в данную эпоху... Работе не хватает равновесия, и она не приводит к четким заключениям" [38]. Нужно, впрочем, понимать, что обоюдоостре и враждебное отношение, сохранившееся и в 30-е годы, которое целенаправленно поддерживали представители неславянской филологии в Брно, противники присвоения Якобсону звания доцента, могло лишь частично способствовать утверждению сложившегося у Якобсона филологического понимания славистических исследований (ср. [39]).

Мы могли бы добавить, что свое критическое отношение к славистике Якобсон уже в 20-е годы корректировал систематическим использованием компаративистского метода в своих поэтических и медиевистских работах. В этом начинании можно усмотреть известное отличие от структуралистической школы Мукаржовского на рубеже 20–30-х годов, которая сохраняла сдержанное отношение к компаративистике и соответственно к славистике: непроясненная связь между теорией литературы и компаративистикой как "влияние логической" историко-литературной дисциплиной

отражала дихотомию синхронии и диахронии, вытекающую из абсолютизации имманентного развития национальной литературы как относительно замкнутой системы, для которой переносы из других систем (хотя бы славянских литератур) являются случайным и несущественным вмешательством. В популярной статье "Романтическое всеславянство – новая славистика", подводившей итоги I съезда филологов-славистов, Якобсон констатировал известную завершенность экстенсивной по материалу славистики и сравнительной науки, которые интенсивно развивались в эпоху стремлений славянских народов к созданию государственности и независимости [40]. Их политическое освобождение, однако, ставит перед славянской взаимностью новые проблемы: трактовка любой совокупности явлений как системного структурного целого должна вести к обнаружению внутренних статических и эволюционных закономерностей. Якобсон предполагал, что более быстрое применение этих принципов осуществляется в современной лингвистике: тем не менее в заключительной части статьи он допускал, что "славянское литературоведение переживает в целом эволюцию, параллельную развитию славянской лингвистики" [40].

Очевидно, что на развитие структурного понимания сравнительного метода и общего понятия компаративистики, помимо исследований Якобсона в области славянской метрики, принципиально повлияли главным образом работы Ф. Вольмана, посвященные сравнительной литературной морфологии, в которых применялось понятие ван Тигема "*littérature générale*" к структурной концепции формы [2]. Утверждение о том, что "структурализм на пути своей эволюции не сумел развитьrudиментарные элементы сравнительного исследования, которые содержал в себе" [41], можно отнести к теоретической деятельности Мукаржовского, который в 30-е годы правомерно отказывался от позитивистской "теории влияния" как продукта механического изучения словесного материала. И все же разработка концепции национальной литературы как законченной структурной системы с четким выделением эволюционной и общеэстетической ценности допускала не только существование сравнительного метода, но и позволяла заново определить ее исходные позиции и цели: сравнение в структурной эстетике проявлялось как систематическое сопоставление литературных структур, в рамках которых происходит перманентная семантическая поляризация составных частей, причем здесь не существует принципиальной разницы между межлитературным и национально-литературным сравнением [42]. Собственным предметом сравнительного исследования становится типологическое определение компактных эволюционных рядов в их взаимной полярности, включая междисциплинарные переходы в другие роды искусства.

Отсутствие у Мукаржовского компаративистской направленности нельзя выводить из преобладания явлений микроконтекстового анализа по отношению к макроконтекстовому наблюдению, или отказа от категории "влияния", которая действительно обременена семантикой позитивистской терминологии. Как мы показали, Мукаржовский в середине 30-х годов в связи с развитием структурного метода пришел к "контекстному равновесию"; при этом, акцентируя функциональную трансформацию явления (а не его генезис), он заменил понятие влияния описанием отношения индивидуального автора к направлению, характерному для эпохи<sup>7</sup>. Предпосылки Мукаржовского, которые обобщали сравнительную практику структурной школы, в том числе и стиховедческие работы Якобсона, трактовали сравнительное исследование как наиболее общий методический прием, свойственный не только лингвистике, но и всему литературоведению. Теоретическое обоснование Мукаржовский находил в общей цели – в реализации эстетической функции, которая в процессе сравнения объединяет отдельные эволюционные ряды, несмотря на различие их материала, и типологически увязывает их в виде структурной закономерности высшего порядка.

Якобсон в начале 20-х годов – со дня основания филологического славистического журнала "Славия" – воплощал славистический и компаративистский аспект своей

<sup>7</sup> Подобное мнение высказал Рене Уэллек в монографическом исследовании [43].

научной деятельности тремя способами. 1. Работы исследователя методологически опирались на компаративистско-лингвистическую основу; речь шла, главным образом, о двустороннем сравнении, при котором синхронно анализировались взаимоотношения и связи языкового, а также литературного феномена в области морфологической, фонетической, фонологической, стиховедческой и т.п. (например, сопоставление ритмико-сintаксических особенностей русского и чешского стиха). Прежде всего стиховедческие работы Якобсона (начало 20-х годов) составили методологическую основу теоретико-литературного изучения славянской сравнительной метрики – в области реконструкции устного праславянского стиха (см. библиографии работ Якобсона [44]). Комплексное описание стихотворных структур основывалось на принципиально новом критерии объективного научного анализа просодических систем, трактуемых на строго современной фонологической базе. 2. Часть статей ученого была систематически нацелена на область истории современной славистики: например, в № 1 "Славии" Якобсон вместе с П. Богатыревым дали, по свидетельству Мурко, "желаемый обзор совершенно неизвестной русской славистики последнего времени" [45; 8]. Кроме основополагающих, славистически ориентированных работ, Якобсон опубликовал в специальной и ежедневной печати ряд некрологов, портретов и юбилейных медальонов, в которых оценивалась славистическая деятельность его учителей (Фортунатов, Шахматов и др.) и современников (Трубецкой и др.). 3. Интенсивное рецензирование современной славистической продукции – польской, немецкой, русской, французской и английской. Нужно добавить, что в связи с практической аргументацией Пражского лингвистического кружка Якобсон в течение 30-х годов принципиально изменил свою критическую позицию по отношению к сравнительному целому славянских литератур: длительная полемика с идеологом нацизма К. Биттнером способствовала определению самобытности и обоснованности славянских литератур как внутренне дифференцированной, но гносеологически поддающейся изучению структуры. Позднее Якобсон обобщил свои взгляды на эти проблемы в книге "Мудрость древних чехов" (Нью-Йорк, 1943), определявшей основные признаки национальной идеологии. Отсюда уже вела прямая дорога к статье "The Kernel of Comparative Slavic Literature", которую мы упоминали выше и которая принципиальным образом обосновала необходимость и правомерность развития и функционирования славянской филологии [22].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chvatlík K. Tschechoslowakischer Strukturalismus – Theorie und Geschichte. München, 1981; Vachek J. The Linguistic School of Prague, Bloomington and London 1966; Wellek R. Discrimination: Further Concepts of Criticism. New Haven, 1970.
2. Wollman F. K metodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno, 1936. Wollman F. Slovesnost Slovanů. Praha, 1928.
3. Kedelka M. O pojetí slavistiky. Praha, 1948; Wollman S. Česká škola literárníkomparativistiky. Praha, 1989.
4. Úvodem // Slavia. Roč. 1. 1922/1923. Č. 1. S.1 (не подписано).
5. Ягич В. История славянской филологии. СПб., 1910; Jagić V. Prošlost i budućnost slovenske nauke (slavistike) // Prace lingwistyczne ofierowane J. Baudouinovi de Courtenay. Kraków, 1921. S. 16–20.
6. Якобсон Р. Богатырев П. Славянская филология за гг. 1914–1921 // Slavia. Roč. 1. Č. 1. S. 171–184; Č. 2/3. S. 457–469; Č. 4. S. 626–634.
7. Jakobson R. Několik zpráv o práci v oboru slovanské filologie na dnešní Ukrajině // Slavia. Roč. 1. 1922/1923. Č. 4. S. 624–636; Jakobson R. Über die heutigen Voransetzungen der russischen Slavistik // Slavische Rundschau. Vol. 1. 1929. S. 629–642; Jakobson R. Der russische Frankreich-Mythus // Slavische Rundschau. Vol. 3. 1931. S. 636–646; Jakobson R. Slavische Sprachfragen in der Sowjetunion // Slavische Rundschau. Vol. 6. 1934–1943; Jakobson R. Společná řeč kultury. Poznámky k otázkám vzájemných styků sovětské a západní vědy // Země sovětů.

- Č. 4. 1935/1936. S. 109–111, červenec 1935; *Jakobson R.* Neues zur Geschichte der altrussischen Literatur // *Slavische Rundschau*. Vol. 8. S. 255–262; *Jakobson R.* Význam ruské filologie pro bohemistiku // *Slovo a slovesnost*. Roč. 4. 1938. Č. 3. S. 223–239; *Jakobson R.* Český podíl na církevněslovanské kultuře // Co daly naše země Evropě a lidstvu I. Praha, 1940. S. 9–20 (подписано *Olaf Jansen*); *Jakobson R.* Český vliv na středověkou literaturu polskou // Co daly naše země Evropě a lidstvu I. Praha, 1940. (подписано *Olaf Jansen*); *Jakobson R.* České Komenského. New York, 1942; *Jakobson R.* Moudrost starých Čechů. New York, 1943; *Jakobson R.* The Kernel of Comparative Slavic Literature // *Harvard Slavic Studies*. I. 1953. S. 1–71; *Jakobson R.* Comparative Slavic Studies // *The Review of Politics* 16. 1954. S. 67–90.
8. *Jakobson R.* Význam ruské filologie pro bohemistiku // *Slovo a slovesnost*. Roč. 4. 1938. Č. 3. S. 223–239; *Jakobson R.* Český podíl na církevněslovanské kultuře // Co daly naše země Evropě a lidstvu I. Praha, 1940. S. 9–20 (подписано *Olaf Jansen*).
9. *Wollman F.* Slavismy a antislavismy za jara národní. Praha, 1968; *Jakobson R.* Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Praha, 1958.
10. *Trubetzkoy N.S.* Letters and Notes. The Hague, 1975.
11. *Jakobson R.* O předpokladech pražské lingvistické školy. Index 6. 1934. Č. 1. S. 6–9, únor 1935.
12. *Měšťan A.* Češi a Slováci z pohledu západoevropského // Idea Československa a střední Evropa. Brno, 1994. S. 237–240.
13. *Jakobson R.* Význam ruské filologie pro bohemistiku // *Slovo a slovesnost*. Roč. 4. 1938. Č. 3.
14. *Jakobson R.* O předpokladech pražskélingvistické školy. Index 6. 1934. Č. 1. S. 8. únor 1934.
15. *Jakobson R.* Nejstarší české písničky duchovní. Praha, 1929. S. 42.
16. *Mathesius V.* Deset let Pražského lingvistického kroužku // *Slovo a slovesnost*. Roč. 2. 1936. Č 3. S. 145.
17. *Mathesius V.* Úvod // Co daly naše země Evropě a lidstvu I. Praha, 1940. S. 5.
18. Konference "Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Romana Jakobsona". Brno. 9 XI 1993.
19. Litteraria Humanitas IV. Brno, 1996 (в печати).
20. *Lehrd J.* Roman Jakobson. Moudrost starých Čechů. Nedokončená polemika o smyslu českých dějin // *Česká literatura*. Roč. 43. 1995. Č 1. S. 52; *Lehrd J.* Poznámky k interpretaci tzv. Prvního Sporu duše s tělem // *Česká literatura*. Roč. 41. 1993. Č 4. S. 349–367.
21. *Wollman S.* Slovanská filologie 1992 // *Slavia*. Roč. 61. Č. 4. S. 351–362.
22. *Jakobson R.* The Kernel of Comparative Slavic Literature // *Harvard Slavic Studies* I. 1953. S. 1–71.
23. *Ламанский В.И.* Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871; *Гром К.Я.* Исторический очерк развития славяноведения. Об изучении славянства. СПб., 1901. С. 5–39.
24. *Jakobson R.* Prof. Šachmatov // *Čas*. Roč. 30. 1920. Č. 68. S. 2; *Jakobson R.* Profesor V.N. Ščepkin (1863–1920) // *Čas*. Roč. 31. 1921. Č. 45.
25. *Jakobson R.* Prof. Šachmatov // *Čas*. Roč. 30. 1920. Č. 68. S. 2.
26. *Jakobson R.* Profesor V.N. Ščepkin (1863–1920) // *Čas*. Roč. 31. 1921. Č. 45. S. 4.
27. *Jakobson R.* Společná řeč kultury. Poznámky k otázkám vzájemných styků sovětské a západní vědy // *Země sovětů*. Roč. 4. 1935–1936. Č. 4. S. 109–111, červenec 1935.
28. *Jakobson R.* Slavische Sprachfragen in der Sovjetunion // *Slavische Rundschau*. V. 6. 1934. S. 324–343.
29. Návrh Stanov pro sjedzy slovanských filologů. §. 4. S. 1. (In: Ústřední archív AV ČR v Praze, fond Pražský lingvistický kroužek, 4 kartón, 3. desky – Korespondence a materiály M–Z 1929–1936).
30. *Murko M.* Řeč při zahájení I. sjezdu slovanských filologů v Praze 6.10.1929. // *Slavia*. Roč. 8. 1929–1930. S. 840–849.
31. *Masaryk T.G.* Světová revoluce. Praha, 1925. S. 518.
32. *Masaryk T.G.* Svět a Slované. 3. vyd. Praha, 1930. S. 7–8; *Hordk J.* T.G. Masaryk a slovanské literatury. Praha, 1931; *Weingart M.* Masarykovo slovanství a slovanská filologie // *Časopis pro moderní filologii*. Roč. 21. 1935. Č. 3–4. S. 225–252; *Jakobson R.* T.G. Masaryk // *Slovo a slovesnost*. Roč. 1. 1935. Č. 2. S. 124–126.

33. *Baudouin de Courtney J.* Czy istnieje osobna kultura słowiańska? // *Przegląd Warszawski*. 5. 1925. Č. 44. S. 223–226.
34. *Lednicki W.* Existe-t-il un patrimoine commun des Étude Slaves? // *Le Monde Slave*. № 3. 1926. S. 411–431.
35. *Jakobson R.* Über die heutigen Voraussetzungen der russischen Slavistik // *Slavische Rundschau*. Vol. 1. 1929. S. 629–646.
36. *Mazon A.* Le patrimoine commun des Étude Slaves 4. 1924. S. 113–132.
37. *Jakobson R.* Vliv revoluce na ruský jazyk. // *Nové Atheneum* 2–3. 1920–1921. Č. 3. S. 110.
38. *Mazon A.* Tchèque et Slovaque // *Revue des Étude Slaves* 3. 1923. Č. 1–2. S. 144.
39. *Zelenka M.* Několik poznámek k Jakobsonově habilitaci na Masarykově univerzitě v letech 1932–1933 // *Slavia*. Roč. 61. 1992. Č. 1. S. 73–81.
40. *Jakobson R.* Romantické všeslovanství – nová slavistika. Čin. 1. 1929. Č. 1. S. 12.
41. *Ďurišin D.* Téoria literárnej komparativistiky. Bratislava, 1985. S. 50.
42. *Mukařovský J.* Mezi výtvarnictvím a poesíí // *J.M.: Kapitoly z české poetiky* I. Praha, 1948.
43. *Wellek R.* The Literary Theory Aesthetics of the Prague School. Ann Arbor, 1969. S. 26–27.
44. *Schooneveld C.H.* Roman Jakobson, A Bibliography of His Writing. The Hague-Paris, 1971; *Rudy S.* Roman Jakobson 1896–1982: A Complete Bibliography of His Writings. Berlin, 1990.
45. *Murko M.* Paměti. Praha, 1949. S. 175.



© 1997 г. ОЛОНОВА Э.

"ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВО ИМЯ ВРХЛИЦКОГО  
Я ИЗУЧИЛ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК..."  
(ПИСЬМА К.Д. БАЛЬМОНТА Е.А. ЛЯЦКОМУ 1920–1929 гг.)

"Праздник сердца" – так назвал свою статью о Ярославе Врхлицком Константин Бальмонт, так определил он свое настроение, которое им овладело при переводе на русский язык произведений чешского поэта. И продолжал: "Праздник сердца – это радость кого-нибудь полюбить. И праздник сердца... найти себя в другом" [1. С. 110].

Один из крупнейших поэтов русского символизма, Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942), был плодовитым переводчиком, перу которого принадлежит целая библиотека переводов мировой литературы (от английского Шелли, грузинского Руставели до поэтов польских, болгарских, сербских, литовских и т.д.). Причем переводил он не с подстрочников, а изучив предварительно язык. О начале своей работы над чешской поэзией он пишет, что летом и осенью 1925 г. "взял грамматику, взял небольшой словарь и не поленился... овладеть ими". И далее: "И взял несколько чешских книг и прочел их, – сперва спотыкаясь, а потом не только идя стройно, но и летя, как птица, и горя, как летучая звезда, потому что это были книги Врхлицкого, лучезарные поэмы и строфы, и песенки прихотливого и одареннейшего из братских славянских поэтов" [1. С. 603].

Идея предложить Бальмонту переводить Врхлицкого, судя по всему, принадлежала Евгению Александровичу Ляцкому (1868–1942), русскому литературоведу, проживавшему с 1922 г. в Праге. Известный еще до революции историк литературы и знакомый Бальмента по художественным салонам начала века, Ляцкий в конце 1917 г. уехал в Финляндию, а затем в Швецию, где в Стокгольме в издательстве "Северные огни" способствовал, в частности, выходу в свет книги стихов поэта "Гамаюн" (1921) [2].

К.Д. Бальмонт уехал из России вместе с семьей по официальному разрешению правительства 25 июня 1920 г., но вопреки ожиданиям на родину не вернулся, и с 1921 г. жил во Франции на положении эмигранта. Именно 1920 годом датируется его первое письмо Ляцкому в Стокгольм, в котором он предлагает книгу избранных стихов, которые, по его мнению, близки славянскому сознанию. Увлечение идеей славянской взаимности и привело Бальмента в последующие годы к работе над переводами чешской, польской, болгарской и сербской поэзии.

Существенным был, однако, и тот факт, как свидетельствует письмо от 15 мая 1925 г., что предложение Бальмонту заняться переводами Врхлицкого было поддержано Министерством иностранных дел Чехословакии в лице Вацлава Гирсы<sup>1</sup>, что

Олонова Эльвира – сотрудница Института литературы Чешской Академии наук (Прага).

<sup>1</sup>Доктор Вацлав Гирса (1875–1954) был в 1925 г. заместителем министра иностранных дел Чехословакии Э. Бенеша и одним из организаторов помощи русским писателям-эмигрантам (в их числе были Марина Цветаева, Алексей Ремизов и многие другие).

означало материальную помощь поэту, который в эмиграции бедствовал. Его отчаянные попытки заработать на жизнь печатанием и перепечатыванием новых и прежних своих книг давали очень скромный доход. Благодаря поддержке Ляцкого, который был не только профессором русского языка и литературы в Карловом университете, но также руководил издательством "Пламя", в Праге были изданы книга очерков Бальмонта "Где мой дом" [3] и стихотворный сборник "Мое – Ей. Россия" [4]. И об этих книгах идет речь в письмах Ляцкому. На наш взгляд, вышеназванная книга отнюдь не свидетельствовала об упадке творческого потенциала Бальмонта, хотя кульминационным моментом его славы, успеха у читающей публики и признания, бесспорно, был перелом веков. Высокая поэтическая культура отличает и его переводы, которые в свое время вызывали много споров, поскольку яркая личность поэта накладывала на них свой отпечаток. По мнению современной критики (см. свидетельство Вл. Орлова в [5]), переводы Бальмонта сыграли огромную культурно-просветительскую роль и заслуживают уважения также и постольку, поскольку поэт всегда стремился следовать подлиннику, хотя текстуально переводы его не всегда точны.

В этой связи представляется уместным вспомнить слова Бориса Пастернака, который также много переводил поэзию, высказанные в статье "Заметки переводчика", где он писал: "Мы уже сказали, что переводы неосуществимы, потому что главная прелесть художественного произведения в его неповторимости. Кто же может повторить его перевод? Переводы мыслимы потому, что до нас веками переводили друг друга целые литературы, и переводы – не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общения культур и народов" [6].

Книга переводов Бальмонта Врхлицкого [7] вышла в Праге в 1928 г. и, бесспорно, чешский поэт был во многом созвучен поэтическому мышлению и чувствованию поэта русского. Неслучайно в качестве эпиграфа к своей статье он выбирает строку "Я жить хочу, хочу я видеть солнце..." (Врхлицкий. "Гиларион"), которая явно перекликается с центральной идеей творчества Бальмонта, лучшая книга которого носит название "Будем как солнце" (1903). Идея "солнечности" остается доминирующей во всем его творчестве (звучит она и в письмах Ляцкому), отнимает у поэта эту любимую мысль лишь болезнь и депрессия последнего десятилетия жизни.

Бальмонт работал также над переводами чешских поэтов иного склада. Он перевел часть поэмы К.Г. Махи "Май" и ряд произведений поэтов перелома веков (Сову, Бржезину, Безруча, Томана, Тээра и др.) [8]. Об этом идет речь в письмах Ляцкому. Публиковал он эти тексты в журнале "Воля России" [9] и в других русских газетах и журналах. Мечтал об издании антологии чешских поэтов конца XIX – начала XX в. Этим планам не суждено было сбыться, вероятно, в частности, из-за критического отношения к ним Ляцкого [10].

По свидетельству современников, Бальмонт был великим тружеником, говорит об этом и его работа над чешской поэзией. Письма как человеческий документ высоко оцениваются литературной наукой как свидетельство о личности художника, ведь корреспонденция является формой самовыражения автора, а у писателя это как бы своеобразное продолжение его литературного творчества. Замечательно и свидетельство о времени, эпохе, которое доносят до нас письма минувших десятилетий. Именно таким документом являются письма К.Д. Бальмонта к Е.А. Ляцкому. Хранятся они в Литературном архиве Музея национальной письменности (архив Ляцкого ЛА 52/69, корреспонденция принятая, личная), обработаны Миленой Винаржовой. Прага, 1974). Далее следует публикация этой переписки, хранящаяся в [11]. В круглых скобках даны ссылки на комментарии, расположенные в конце статьи.

48 bis, rue Raynouard, Paris, XVI.

1920 XII 15.

Многоуважаемый Евгений Александрович,

Вы красиво издаете книги, и если "Северным Огням" интересно, я был бы рад увидеть в Вашем издании несколько своих книг. Я послал Вам сегодня, для начала, книгу избранных своих стихов "Гамаюн", где я собрал из своих томов те стихи, которые близки славянскому сознанию. Я старался при этом выбирать вещи, которые, будучи для меня характерными, почти совсем не встречаются в хрестоматиях моего творчества (за самыми немногими исключениями).

Если Вы возьметесь издать эту вещь, будьте добры сами предложить мне условия.  
Буду ждать скорого ответа.

Преданный Вам

К. Бальмонт

48 bis, rue Raynouard, XVI.

1921. 7 янв(аря) Париж

Дорогой Евгений Александрович,

и Вы мне дороги, поверьте, наше знакомство – лишь из нескольких оборванных мгновений, но именно мгновеньями бывает жива душа. Или не так? Конечно так. Вот и письмо Ваше дошло как живой дружеский голос в одно из тяжких моих мгновений, когда магически хотелось выбраться душой из этого холодноватого Парижа, от этих мучительных русских, что собирались здесь и более уже не чувствуют Россию, не знают, что мать может терять рассудок, но сердце сына должно всегда быть ей верным и уважительным.

Привет Вам, что Вы не изменяете России. О наших делах. Я телеграфировал Вам: – «На 2500 франков (т.е. за рукопись мою "Гамаюн") согласен. Благодарю. Прошу выслать деньги, корректуры. Дружеский привет». Будьте добры написать мне подробности: Сколько экземпляров думаете напечатать? В какое время осуществится напечатание? Могу ли я сразу получить все деньги (желательно) или пока только половину? Хотите ли и можете ли взять у меня что-нибудь из других работ? (Таковы: имеющий большой моральный и внешний успех, мой очерк "Поэзия как Волшебство" (1), – еще не напечатанный ни разу очерк "Любовь и смерть в мировой поэзии" (2), и др.).

Буду ждать скорого письма. Всего лучшего Вам и Вашему делу.  
Жму руку.

Искренне Ваш

К. Бальмонт

48 bis, rue Raynouard, XVI, Paris

1921 VI 2.

Дорогой Евгений Александрович,

где Вы? В газетах как-то проскользнуло сведение, что Вы читали о Тургеневе в Берлине. Я думал, что Вы приедете в Париж и мы свидимся. Но верно, Вы снова уехали в Стокгольм?

Я послал Вам небольшую рукопись своих новых поэм (3) (листа три с небольшим). Из них некоторые еще вовсе не видели света. Я послал также книжечку "Поэзия как Волшебство". Она была издана в Москве лишь раз и была расхватана в 3  $\frac{1}{2}$  месяца. Если Вы изададите две эти книжечки, Вы меня сделаете счастливым.

Я здесь совсем пропадаю в безвоздушном пространстве и встретил бы радостно Белую Невесту, но она забыла меня.

Жму руку. Как вы?

Искренне Ваш

К. Бальмонт

P.S. "Гамаюн" изящная голубая птичка, обрадовала меня очень-очень.

4

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf. Villa Ferdinand

1921 VII 23.

Дорогой Евгений Александрович,  
спасибо Вам за доброе слово. Каждый раз, когда Вы мне пишете, Вы поселяете в моей душе надежду и энергию. Не могу не сказать, что я в этом очень нуждаюсь. И ощущение душевной правды, которое всегда веет от Ваших строк ко мне, добрые зерна для перелетной бездомной птицы.

Я надолго уехал в Бретань. Приезжайте сюда хоть на несколько часов, – в Океане вечная сила и красота.

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

5

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf. Villa Ferdinand

1921.25.7

Дорогой Евгений Александрович,  
я послал Вам перед отъездом из Парижа телеграмму, но ответа не получил. Где Вы?  
Отзовитесь. Я уехал в Бретань, и думаю оставаться здесь долго, до зимы и, может быть, зиму. Шум моря и шелест листвьев – бальзам для души.

Жму руку. Всего лучшего

Ваш К. Бальмонт

6

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf. Villa Ferdinand

1921 VIII 9.

Дорогой Евгений Александрович,  
Вы задали мне самую трудную задачу. Я никогда не знаю, сколько я должен спрашивать за свои книги. Но мне кажется, что было бы справедливо назначить тысячу франков за "Поэзию как Волшебство" и полторы тысячи за "Книгу поэм". Позвольте мне, дав свое указание, дать Вам в то же время безоговорочное полномочие качнуть цифры влево, т.е. в понижение или вправо, т.е. в повышение, как разрешат Ваши соображения и обстоятельства. Знаю, что Вы сделаете все возможное, для защиты моих интересов.

Я не понял, совсем ли Вы покинули Стокгольм или же только на время. Как устроились в Праге?

Я радуюсь, что я в Бретани. Моя душа слушает океан и сосны.

Жму Вам руку

Ваш К. Бальмонт

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf. Villa Ferdinand

1921.26 авг(уста)

Дорогой Евгений Александрович,  
жду от Вас какого-н(ибудь) отклика, но его все нет. Отзовитесь. Тоскливо в безвоздушном пространстве.

Посылаю Вам еще небольшую рукопись "У парижского камина" (4), – проза последнего года. Не пригодится ли это для издания? Если да, я заранее принимаю те условия, которые Вы назначите. Если нет, прошу вернуть.

Устроились Вы в Праге?

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf. Villa Ferdinand

1921 IX 15.

Дорогой Евгений Александрович,  
откликнитесь. Где Вы? Я в безвоздушном пространстве. Дошли ли до Вас мои письма и рукопись "У парижского камина"?

Напишите об этом и о себе.

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf., Villa Ferdinand

1921 X 10.

Дорогой Евгений Александрович,  
меня беспокоит Ваше долгое молчание. Я не уверен, что все мои письма дошли до Вас. Откликнитесь, пожалуйста. Получили ли Вы мою рукопись "У парижского камина"? Могу ли я надеяться, что что-н(ибудь) мое будет издано? Здоровы ли Вы и как устроились в Праге?

Я пишу много стихов, о России теперешней и о лице той вечной России, которую мы любим. К сожалению, мало надеюсь, что кто-н(ибудь) захочет напечатать эти стихи в виде цельной книги.

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf., Villa Ferdinand

1921 XI 4.

Дорогой Евгений Александрович,  
где Вы? Я несколько раз, безответно, писал Вам по данному Вами адр(esy) Revolucne 20, loc. Reichen. Туда же давно послал заказной бандеролью рукопись прозы "У парижского камина".

Мне горестно, что именно Вы молчите, Вы, чуть не единственный из зарубежных русских, давший мне почувствовать душевную ласку.

Как бы Вы ни были заняты, прошу, откликнитесь, если Вы получите это письмо.

Искренне Ваш

К. Бальмонт

St.-Brevin-les-Pins, L. Inf., Villa Ferdinand

1921 XI 28.

Дорогой Евгений Александрович,  
я был рад некоторым словам Вашей открытки. Я боялся, что Вы тяжко больны и потому молчите. Здоровы, значит ладно. Остальное приложится.

А я болею. У меня целый месяц невралгическая боль в правом глазе и в правом виске. Совсем выбился из сил. И так как целый месяц почти не могу работать, положение близкое к трагическому.

Пожалуйста, о рукописи "У парижского камина" дайте мне какой-либо, но немедленный ответ. О других хотел бы знать что-н(ибудь) точное тоже немедля, но если невозможно, буду скрепя зубами, ждать. А с Пар(ижским) камином ждать нельзя. Или устройте теперь же, или верните.

Пишу много новых стихов. Горюю очень, что Вы не встречаете у заграничной публики заслуженного признания Ваших высоких качеств. Я бы хотел Вас видеть, именно Вас, издателем всех моих книг, прошлых, настоящих и будущих.

. Будьте добры ответить безотложно

Ваш К. Бальмонт

## 12

St.-les-Paris, L. Inf

1921 XII 13.

Дорогой Евгений Александрович,  
меня мучает Ваше новое молчание. Я писал и повторяю: или о книжке "У парижского камина" я должен узнать теперь же что-н(ибудь) категорическое, или, прошу, верните мне эту тотчас же по получении этих строк. Я буду 19-го или 20-го дек(абря) в Париже на неделю. Если в Праге ничего нельзя сделать для издания этой книги, я могу предпринять (хотя и с гадательным успехом) хлопоты в одном французском издательстве).

Если бы случайно Вы не успели послать книжку сюда до моего отъезда (в случае, если возврат – единственный для Вас исход), прошу послать бандеролью по адр(есу): Paris, M-r J. Bunine, 1, rue J. Offenbach XVI.

Хотел бы сказать Вам что-н(ибудь) ласковое, но так смутно в душе.

Искренне Ваш

К. Бальмонт

## 13

Париж. 1923. 23 апреля

Дорогой Евгений Александрович,  
давно уже получил Ваше коротенькое письмечко и собирался ответить тотчас, да застрял благодаря нашей национальной особенности, которая может быть определена как недуг и наименована эпистолярным параличом.

Да, я собираюсь приехать в конце мая в Прагу, а посмотрев на нее и подышав там недели полторы, думаю, что и вовсе переберусь туда, буде Судьба того пожелает. Здесь жизнь злосчастная. Нищенство мне надоело – до желания прихода смерти. И французы совсем внешне к нам относятся, а здешние русские, за небольшим исключением, либо подлецы, либо пакостники, дрянные и ничтожные. Никакой атмосфера, никакого света, пустырь, даже не пустыня, ибо в пустыне есть оазисы, и ей самой свойственна великая красота, хотя и жуткая. А что есть пустырь, самое это слово, рифмующееся с упырь, говорит выразительно.

Прослышил я, будто опять Вы в русле издательства. Если это так, вспомните

меня. Я мог бы предложить Вам и прозу, и стихи, что пожелаете. А как "Гамаюн"? Вы больше не участвуете там? Тотомианц говорил мне, что Вы хорошо устроились в Праге. Радуюсь за Вас, если это так. Я на свою заграничную жизнь смотрю как на бесконечную и Судьбою неправосудно на меня наложенную пытку.

Жму руку. Отзовитесь.

Ваш К. Бальмонт

14

2, rue Belloni, XV /Pasteur/

1923. 1 окт(ября). 3-й час д(ня)

Дорогой Евгений Александрович,  
напоминаю Вам, что сегодня непременно ждем Вас вечером. Гребенщикова (5) я звал  
к 9-ти. Если можно, приезжайте раньше, к 8-и, чтобы нам часок успеть поговорить  
вдвоем, вне общей беседы.

Радуюсь видеть Вас

Ваш К. Бальмонт

15

Париж. 1923. 1 X. Вечер

Дорогой Евгений Александрович,  
если Вы никому еще не отдали завтрашний вечер, нельзя ли Вам предложить такое  
времяпровождение: я зайду к Вам в отель, как мы условились, в 6-ом часу, а посидев  
у Вас, поедемте или пойдемте ко мне обедать. Вечером у нас будет и Куприн (6).

Буду надеяться на это. И во всяком случае до завтра у Вас.

Ваш К. Бальмонт

16

Париж. 1923. 9 октября

Дорогой Евгений Александрович,  
вечером ждем Вас и Тэффи (7). Если Вам захочется привести с собой кого-н(ибудь)  
еще из Ваших друзей, милости просим.

Ваш К. Бальмонт

17

Париж. 1923. 23 ноября

Дорогой Евгений Александрович,  
Вы, конечно знаете, что я получил из издательства "Пламя" отрицательное письмо с  
определенными условиями, по принятии и утверждении которых мне было обещано  
выслать – 2.516 крон ч(ешских). Письмо было подписано Яковлевым (8) и датировано  
7 ноября. Я ответил тотчас же, заказным, принял условия и просил перевести эту  
сумму, по возможности, во французской валюте. Пишу Вам об этом для верности, ибо  
меня беспокоит задержка. По числам судя, я бы уже должен был получить ответ и  
деньги.

Я очень хотел бы знать, когда начну получать корректуры и, будете ли Вы  
печатать сразу обе книги или же одну, и тогда, какую именно. Если одну, я просил бы  
сперва напечатать прозу, ибо проза всегда покупается охотнее.

Вы ничего не ответили мне, осуществляется ли наш разговор об альманахах или это  
лишь проплывшее облако, поигравшее светом и растаявшее.

И как Вы? Что Вы? Напишите же. Ведь я и моя семья мы Вас искренне любим, и Вы не могли этого не почувствовать.

Мы в тусклых сумерках. Я тоскую и пишу стихи.

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

18

2, rue Bellini, XV

Париж. 1924. 17 января

Дорогой Евгений Александрович,

Вы совершили со мною совершенно зверское деяние. Я послал Вам для "Огней" (9) лучшее, что я написал после "Золотого Обруча" (10) – "Уют Мороза". И в первом слове первой строки варварски сделана опечатка. Вместо "сильней" напечатано сильный, и недостает только, чтобы было прибавлено "25° по Реомюру". Ни стиха, ни смысла в строке: Я хотел бы приехать в половине марта на две недели в Прагу и устроить два вечера: один – новая моя лекция, имевшая здесь шумный успех (на следующей неделе я приглашен, в 4-ый раз, перед Французскими слушателями в Сорbonne): – "Русский язык" (11) ("Воля как основа творчества"). – Другой вечер – "Вечер поэзии К.Д. Бальмонта". Приеду с Ел(еной) К(онстантиновной).

Могли ли бы Вы (быть может, снестись с г(оспо)жой Папоушек?) (12) помочь мне в устройстве вечеров и в нахождении бесплатного или дешевого приюта на две недели?

Пожалуйста, ответьте скоро.

Также молю: 1) корректуры двух моих книг и 2) обещанных шведских книг.

Заклинаю отнестись к моим словам с бодрой действенностью. Пишу новые стихи и собираюсь написать драму.

Мои шлют привет. Жму Вашу руку. Как вы? В профессорских делах?

Ваш К. Бальмонт

19

Париж. 1924. 17 марта

Дорогой Евгений Александрович,

надеюсь, Вы получили исправленную мною корректуру первой половины "Мое – Ей". Жду второй и последней.

Увидев у меня корректорные листы, художник Лебедев пленился мыслью сделать обложку к этой книге. Не напишите ли Вы ему два слова? Он просил спросить Вас, какой будет точный размер обложки.

Вы, вероятно, получили также мои стихи, которые я послал Вам для "Огней".

Буду ждать от Вас словечка.

Жму руку

К. Бальмонт

20

Париж. 1924. 31 марта

Дорогой Евгений Александрович,

я получил Ваше письмо. Мне жаль, что Вы ничего не упоминаете о посылке мне дополнительных экземпляров книги "Где мой дом"? Я писал и изъяснял, что никак не могу удовлетвориться десятью экземплярами. Я должен иметь еще – наименьшее – 10 экз(емпляров), – и для раздачи лицам, которые могут написать рецензии, и для посылок заграничным друзьям, которые со своей стороны двинут книгу. Прошу Вас распорядиться о посылке и, если можно, безотлагательно, ибо я вскорости уезжаю в Бретань.

Огорчительно мне было и сообщение, что Вы предлагаете Лебедеву 50 франков за обложку. Это цифра столь забавная, что я не решаюсь ее сообщить Лебедеву, лучшему из здешних художников по данной части. Благоволите обратиться к нему с этим предложением непосредственно, помимо меня.

Второй половины корректур книги "Мое – Ей" я еще не получил и меня это беспокоит. Прошу или тотчас послать корректуры или сообщить, когда в точности я их получу.

Красиво были напечатаны в "Огнях" два мои стихотворения. Ожидая напечатания двух других, и после этого пошлю Вам еще несколько небольших вещей.

За последнее время неоднократно выступал здесь. Повторно читал имеющую большой успех лекцию о русском языке. Хотелось бы узнать о Вашем впечатлении. Это появится в "Соврем(енных) записках". Был также мой вечер в театре Раймонда Дункана. Зал был полон, но Вас в нем не было, и это грустно.

Жму руку и приветствую от своих. Жду ответа скорого и благого.

Ваш К. Бальмонт

21

Шатэллон, 1924 VI 6.

Дорогой Евгений Александрович,

Вы меня огорчаете. В письме от 13-го мая Вы пишете: "Триста франков посылаем". В письме от 3-го июня Вы пишете: "300 фр(анков) высылаем". Не знаю, какая формула убедительнее, но ни после 1-ой, ни после 2-ой франки не пришли. Хочу думать, что они покинули, наконец, химерические области намерения и воплотились в движение, направленное сюда.

Рукопись пришлю, как будет готова вся. Еще должен написать о Баратынском и Фете (13).

Посылаю для "Огней" два стихотворения.

Если бы Вы захотели переиздать некоторые книги моих стихов и прозы, я был бы поистине обрадован. Я хотел переиздать в первую очередь из стихов "Ясень", "Белый Зодчий" и "Стихи для детей"; из прозы "Горные Вершины", "Морское Свечение" и "Край Озириса" (14).

Какие desiderata Ваши?

Жму руку и жду скорого ответа

Ваш К. Бальмонт

P.S. Как идет "Где мой дом?" Получу ли когда-нибудь последние корректуры "Мое – Ей"?

22

Шатэллон, 1924. 24 июня

Дорогой Евгений Александрович,

спасибо за 300 франков, которые я вчера получил. Ценю Вашу услугу и воистину она приходит во время. Я все время, не отдыхая, работаю и, однако же, пляшу на острие иглы.

Секретарь Ваш, извещая о посылке денег, сообщил, что Вы мне сами пишете подробно. Но я письма от Вас не получил.

Пишу очерки, которые скоро сгруппирую в цельную книгу, и тогда пошлю Вам рукопись. Мне кажется, что книга о русском языке и задачах творчества в наши шаткие дни нужна и не может не возбудить внимания.

Очень меня огорчает, что "Пламя" упорно не посыпает мне корректур книги "Мое – Ей". Если Вы вспомните, что рукопись я Вам отдал еще осенью, дело выходит

совсем странным и печальным. Когда я, наконец, получу набор всей остающейся части? Известите меня, пожалуйста, и подгоните печатню.

Равно я огорчен тем, что стихи мои, которые я Вам посылаю для "Огней", появляются в газете с чудовищными опечатками. Прилагаю листок погрешностей и прошу поместить его в ближайшем №-е "Огней". На днях все-таки пошлю еще новые стихи, но очень Вас молю распорядиться, чтобы они были внимательно откорректированы. Что Вы замышляли о перепечатании некоторых моих прежних книг? Я взволновался и обрадовался, но пока еще боюсь верить в такую радость.

Мечтаю осенью попасть в Прагу. Не знаю, удастся ли однако. Парижской своей квартиры я лишился, а здесь пробуду до 1-го ноября.

Напишите мне, пожалуйста, о себе и моих делах. Где Вы проводите лето? Елена Константиновна (15) шлет Вам привет, умноженный моим.

Искренне Ваш

К. Бальмонт

23

Шат. 1924. 27 июня

Дорогой Евгений Александрович,  
посылаю Вам два стихотворения для "Огней", но молю распорядиться, чтобы не было опечаток.

Я писал Вам вчера и позавчера. Откликайтесь. Так тягостны дни без душевной ласки друзей.

Очень прошу о скорейшей высылке корректур "Мое – Ей". Вы когда-то обещались послать мне шведских книг. Что если бы действительно послали? Я так желал бы прочесть тот замечательный роман, который Вы живописно мне рассказывали у меня в Париже, за чайным столом, о некоей Лесной жительнице, о забвении человеческого языка. Я бы, прочтя, написал об этом что-то любопытное для "Огней". И последние книги Сельмы Лагерлеф (16) я прочел бы с наслаждением, и посодействовал бы их прославлению. Если у Вас нет под рукой, быть может, Вы были бы добры написать в Стокгольм своим друзьям и они послали бы мне? Сделайте это, я скажу Вам пушкинское "добро"!

Жму руку. Всего благого Вам.

Ваш К. Бальмонт

24

Шатэлайлон, 1924, 14 июля

Дорогой Евгений Александрович,  
спасибо Вам за ласковое письмо и за то, что Вы не продиктовали его, а написали сами. Всё меня приводите в отчаяние. Воистину есть от чего прийти.

Вы не пишете мне ни слова о шведских книгах, о которых я Вас спрашиваю и молю, и которые мне очень нужны. Вы также не пишете никакого серьезного, решительного, делового слова о моей книге "Мое – Ей". Да еще, прозвучавшее совсем угрозой глухое слово прибавляете о том, что "Пламя" печатает какие-то книги срочным порядком. Уж не упражнения ли Мережковского? (17). Я отдал Вам рукопись "Мое – Ей" осенью прошлого года, почти год тому назад. Моя книга имеет таким образом право печататься теперь срочным порядком. Год держания ее под спудом причиняет мне не только огорчение, но и убыток, вещественный и внутренний. Было услугою с Вашей стороны взять ее. Но будьте же добры докончить услугу и сделать ее действительной, а не призрачной. Клянусь, я не могу и не хочу больше ждать. Убедительно прошу Вас послать мне корректуры без дальнейших проволочек. Будьте другом и выполните это.

Относительно моих прежних книг мне хотелось бы добиться от издательства "Пламя" серьезного существенного разговора, а не облачно-неопределенного. Такие книги мои, как "Горящие здания", "Будем как солнце", "Фейные сказки", должны быть перепечатаны и найдут обширный круг читателей. Право на переиздание их – за мною. Гржебин (18), который ранее намеревался их печатать, отказался от этой мысли и дал мне в том формальное удостоверение, которое могу доставить "Пламени", если то нужно. Похлопочите, дорогой. Не бросайте меня и будьте действенным другом. Кому же, как не Вам, издать такие книги, которые достаточно четко записаны в летописях Русской поэзии?

Ежели у Вас рук не хватает с "Пламенем", почему бы Вам не пригласить для работы в издательстве Вашего покорного слугу? С моей усидчивостью, добросовестностью, жизненным опытом и обширными сведениями по литературам и языкам, я был бы ценным работником. А я в Париж не чувствую желанья возвращаться. Подумайте об этом.

Как Вы и когда собираетесь ехать отдохнуть? Мои Вам кланяются. Жму руку и жду утешительного и скорого ответа

Ваш К. Бальмонт

25

Châtelailon, Chyr.-Inf. Chalet Charlot.

1924. 11 сент(ября)

Дорогой Евгений Александрович,  
куда-то Вы пропали? Откликнитесь, если Вы живы. Получу ли я, наконец, последнюю корректуру "Мое – Ей"? Очень давно жду.

В ноябре намерен прибыть в Прагу. Хочу устроить три выступления (две лекции и вечер поэзии). Если полюбится мне Прага, а я Праге, останусь там.

Кончаю на днях новую книгу стихов. – Откликнитесь. Жму руку.

Искренне Ваш

К. Бальмонт

26

Олерон. Боярвиль. 1924 X 4.

Евг.Ал. Ляцкому

Дорогой Евгений Александрович,  
спасибо за стихи и письмо. И спасибо за то, что сейчас, уехав на несколько дней из Шатэлайлона (куда возвращаюсь в среду), я читал кому-то вслух книгу "Мое – Ей". Клянусь, превосходная книга и очень бы хотелось, добрый друг, скоро увидеть в печатном лице другую родственную книгу, уже родившуюся в лице рукописном. Как Вы насчет сего?

Долго ли Вы пробудете в Париже? Мы в Шатэлайлоне до конца октября. Если бы Вы собрались к нам сюда! Вот была бы истинная радость. Приветы от моих. И от меня – тройной и самый сердечный

Ваш К. Бальмонт

27

Châtelailon, Char.-Inf., Villa Aiglon

1924. 27 окт(ября)

Дорогой друг Евгений Александрович,  
"Мое – Ей" давно получили, и уже не осталось ни одного экземпляра. Если бы расщедрились еще экземпляров на 15, стал бы за Вас бога молить.

В книге одна лишь опечатка, но досадная: на стр. 121-й в строке 9-й вместо "там" надо "так". Нельзя ли вложить листик о сем в каждый экз(емпляр)? Ведь последняя

поэма – важнейшее в книге. Как она идет? Я получаю в письмах восторженные отзывы.

Был на острове Олерон, когда получил из Италии Ваше письмо со стихами (вторично присланными). Тотчас же писал Вам по данному Вами адресу Paris, 2, гие Racine. Не дошли мои строки или Вы не доехали до Парижа?

Стихи Ваши мне понравились, а то, что Вы пишете стихи, вдвойне. Музы да колдуют.

Послал я Вам "Край Озириса". Если Ваши ученые возражают против моих стихов, хотел бы я слышать, что они возразят против этой книги. Она вышла в Москве во время войны (первая русская художественная книга о Египте) и, хвалебно отмеченная русским египтологом, учеником Тураева, В.М. Викентьевым, в предисловии к переводу классического сочинения Брэстеда, она была расхватана, как и мой перевод "Египетских народных сказок". – "Край Озириса" не компиляция, а самостоятельная работа, основанная на путешествии в Египет и на многолетнем его изучении под руководством Жана Капара (Брюссель), А. Морэ (Париж) и Масперо (Каир) (19). Я надеюсь, что Вы проведете эту вещь в "Пламени".

Откликнитесь поскорее

Ваш К. Бальмонт

P.S. Денег нет ехать в Париж. И Океан лучше людей. Остаюсь здесь на всю зиму.  
Елена Конст(антиновна) и Мирра (20) шлют Вам приветы.

28

Châtelailon, Char.-Inf. Villa Aiglon

1924 XI 13.

Дорогой Евгений Александрович,

Вы совсем забываете меня. Напишите, получили ли Вы мой "Край Озириса", и приняли ли какое-нибудь решение относительно этой книги. Неужели "Пламя" среди того множества книг, которые им печатаются, ограничится моими двумя маленьенькими книжечками и не пожелает представить более полно и достойно то крупное и яркое (в смысле таланта, труда, осведомленности и определенного литературного достижения), что символизируется моим именем? Поистине, это было бы несправедливо. Живем здесь в полном отъединении. Вдохновение радует новыми подарками. Но делается грустно, когда не знаешь, куда же их направить. Привет Вам от меня и Елены Конст(антиновны)

Ваш К. Бальмонт

29

Châtelailon, Char.-Inf. L. Aiglon

1924 XII 3.

Дорогой Евгений Александрович,

благодарю Вас и прошу передать мою благодарность издательству "Пламя" за посылку дополнительных 15 экз(емпляров) "Мое – Ей", своевременно полученных.

Письма от Вас все нет и поверьте, что это мне очень горько. Живем мы в полном одиночестве, не только с очарованиями Океана – они неисчерпаемы – но и среди глупого и злого племени человеческого. Вы поймете, что, когда и лучшие друзья покидают на расстоянии, бывают минуты тяжелыми. Привет Вам

Ваш К. Бальмонт

54, rue d'Assas, VI<sup>s</sup>

Париж, 1925, 27 марта

Дорогой друг Евгений Александрович,  
давно не писал Вам, был в хлопотах по отъезду из Шатэлайона, потом здесь погло-  
тила сумятица, и вот скоро бегу отсюда в Бретань, но уповаю получить еще здесь от  
Вас ответ.

Слышал от Мережковского, что с Вами было такое же несчастье как с Еленой  
Константиновной перед Святками, — сильный обжог. Надеемся, что все прошло благо-  
лучно.

Очень я обиделся на Вас, вернее на "Пламя", за то, что вернули мне "Край Ози-  
риса". Хочу надеяться, что судьба моей книги "Русский язык" будет иная, и что Вы  
проведете ее меж теснин успешно и скоро.

Буду ждать ответа.

Завтра здешние молодые писатели празднуют 35-летие выхода моей первой книги.  
Да присоединится и Прага к сему — скорым напечатанием моих давнишних раздумий о  
нашем родном языке и его создателе.

Вам кланяются мои. А я Вас обнимаю.

Ваш К. Бальмонт

С.-Жиль. 1925. 14 мая

Дорогой друг Евгений Александрович,  
очень я жалел, что мы были уже в отъезде, когда Вы приехали в Париж. А Вы, злой,  
хоть бы открытку нам прислали. Где Вы теперь? Надеюсь, уже в Праге, и мои строки  
найдут Вас.

Это, впрочем, не строки, а скромный скрежет зубовный.

1. Скоро ли получу от Вас весточку?
2. С какими злодеями Вы в союзе, что мне был возвращен "Край Озириса"?
3. Скрыт ли подспудом мой "Русский язык" и суждено ли в дни порчи русского языка  
появиться ему в "Пламени"?
4. Скрижали художественные не должны ли явить свой лик, когда скоморошество?
5. Скрою ли от Вас, что заинтересован этим всячески?
6. Скрепили Вы вечный союз с забвением, что забыли обо мне и, в частности, о  
своем обещании послать мне шведских книг?
7. Скраду ли я совсем запретное, если попрошу также послать 5 экз(емпляров)  
"Мое — Ей" и 5 экз(емпляров) "Где мой дом"? Если Вы утолительно ответите на все  
мои скорбные Ск и Скр, да благословит Вас солнце.

Искренне Ваш К. Бальмонт

С.-Жиль. 1925. 15 мая

Дорогой Евгений Александрович,  
вчера я послал Вам письмо, а сегодня — Ваше письмо ко мне от 9-го мая. Конечно,  
большое и пребольшое спасибо Вам за Ваш добрый дружеский поступок и сейчас же  
напишу Гирсе соответствующее письмо. 500 фр(анков) сумма небольшая, но как  
подспорье это очень хорошая помощь (это разумеется — Вам говорю, Гирсе я просто  
скажу слова признательности). Если он пришлет мне главнейшие произведе-  
ния Врхлицкого, о чем думаю его попросить, я с удовольствием переведу из него  
разные отрывки и действительно докажу, что помощь мне — не бездонная бочка  
Данаид.

Очень-очень прошу Вас послать мне шведских книг и приложить усердие по возможности дать положительный ответ на вчерашнее мое письмо.

Если в июне будете в Париже, загляните к нам. У Вас будет своя комната в нашей скромной, но не тесной вилле.

Обнимаю Вас

Ваш К. Бальмонт

33

St.-Gilles-sur-Vie, Vendee

1925. 2 июня

Дорогой Евгений Александрович,

у меня два огорчения. Не умалите ли их. После Вашего последнего письма, я тотчас же написал учтивое письмо тому чешскому министру, которого Вы назвали. Ни ответа, ни монет я не получил. Если монеты должны прийти, не научите ли, как это сделать.

Другое огорчение с "Пламенем". Мне написали оттуда, что "Русский язык" могут издать, не уплачивая немедленно вознаграждения, и напечатать не ранее, чем через 6-12 месяцев. Я согласен ждать вознаграждения. Я согласен и ждать жестокие полгода. Но нельзя ли не угрожать мне двумя полугодиями? Это же бесчеловечно.

Похлопочите

Ваш К. Бальмонт

34

C.-Жиль. 1925. 27 июня

Дорогой Евгений Александрович,

я уже давно получил любезно посланные мне Чешским Консульством в Париже 1000 франков) за май и июнь. Очень, очень благодарю Вас за эту ценную дружескую услугу. Я воспринимаю это не как помочь чехов, а как помочь, пришедшую от Вас. И всегда помочь от Вас приходит более, чем во время – на крайней черте. Спасибо.

Как Вы живете и где? Неужели в городе? Если приедете во Францию, загляните к нам. Вы ведь знаете: не только я, но и Елена Конст(антиновна) и Мира, и Анна Ник(олаевна) (21) мы все и всегда Вам рады.

Здесь очень хорошо. То-есть, что до природы. Могучий пустынный Океан. Холмы, цветы, птицы. Ну, а люди – Вы сами знаете им цену не менее, чем я. Когда-то, когда я писал "Злые чары" (22) (давно то было), я воскликнул: "Боже, не дай мне людей разлюбить до конца!" О непришествии такого несчастья я постоянно молюсь и теперь. Но не знаю молитвы мои доходят ли. Не пошлет ли мне "Пламя" роман Мережковского? А Вы, дорогой, когда же мне пришлете что-нибудь из давно обещанных шведских книг? Собирайтесь!

Мои Вас приветствуют. А я, желая доброго здоровья, дружески жму руку

Ваш К. Бальмонт

35

St.-Gilles-sur-Vie, Vendee

1925. 2 августа

Дорогой Евгений Александрович,

благодарю Вас за интересную Вашу книгу о Гончарове (23). Она написана таким хорошим, чистым русским языком, каким, к сожалению, редко кто теперь пишет. Читаю ее вслух Елене Константиновне. Когда кончу, напишу о ней подробно – и Вам, и для газет.

Списка Ваших изданий я не получил. Пожалуйста, пошлите и не поскупитесь послать по моему указанию разные книги. Я же в долгне не останусь. Пошлю свои

книги Вам для Славянского института в Праге, а также не обойду молчанием присланные мне книги и не раз упомяну их в "Сегодня" (24) и в "Последних Новостях" (25).

Итак, буду ждать списка.

Как Ваше здоровье? Нервы? Глаза? Собрались бы Вы к нам сюда, в океанский тихий оазис. Мы бы Вас вылечили.

Приветы Вам

Ваш К. Бальмонт

P.S. Пожалуйста, убедите контору "Пламени", что я из Шатэлейона уехал еще в январе.

36

С.-Жилью. 1925. 11 октября

Дорогой Евгений Александрович,  
дорогой-то дорогой, да неверный Вы. Мы Вас ждали здесь. Но нам досталось – пользуясь утонченным словоупотреблением Шелли – блаженство неисполненных желаний. Признаться, не очень я люблю таковой высокий разряд блаженства.

Верно, увидимся в Праге. Я решил приехать туда в конце ноября. 10-го ноября еду в Париж и предприму соответствующие хлопоты. Все лето я занимался чешским языком, изучаю творчество Врхлицкого и перевел уже из него несколько десятков стихотворений. Хотелось бы приготовить целый томик страниц в 200. Это поэт изумительный, большой силы и тонкости. Послал 27 переводов д-ру Завазалу (26). Но пока ответа никакого не имею.

Получил от Зайцева (27) радостную весть, что чехи продлили нам вспоможение. Не Вы ли накоддовали опять? Сообщите, хочу знать.

Если поможете мне устроить 2-3 вечера в Праге, будет это очень хорошо.

Как Вы? Как здоровье? Отзовитесь. Спасибо за только что полученную "Тундру" (28). Мои Вам кланяются.

Привет

Ваш К. Бальмонт

Прошу передать издательству "Пламя" мою признательность за посланные книги.  
Читаю их и буду писать отзывы.

37

Париж. 1926. 13 февраля

39, rue Rierre Nicole, Hotel Nicole  
Paris 5<sup>e</sup>

Дорогой Евгений Александрович,  
благодарю Вас за открытку от 8-го февраля и за официальное письмо от 27-го января, несколько запоздавшее прибытием.

Предложения Комиссии о приготовлении мною книги переводов из Врхлицкого, уже значительно мною подготовленной, и книги переводов из других чешских поэтов, о чем я еще осенью писал г(осподину) Завазалу, меня радуют, но я затрудняюсь сам назначать размер вознаграждения. Прошу сделать мне конкретное предложение, исходя из мысли, что для выполнения работы я должен иметь несколько месяцев безусловного досуга. Вы знаете, как я ценю поэтическое слово, чужое и мое, и сколько добросовестного внимания и усилий я влагаю в литературный труд. Работе над передачей чешской поэзии на русский язык я придаю исключительно большое значение.

Итак, я весь в распоряжении Чешского правительства.

С преданностью

К. Бальмонт

P.S. Жду книг, а их все еще нет.

№ 3 Вниманию печатников: "Христа ради, не обирайте моих сирот – стишонков опечатками". Пушкин (1828).

Доколе?

Они идут – они идут –  
Они идут – неотвратимы  
Огонь костра – как красный жгут,  
А сверху – сажно-черны дымы.  
Они идут – через меня,  
Я им – телесный – не преграда.  
Они не чувствуют огня,  
Не освежает их прохлада.  
И взор у всех – как хризолит,  
И каждый – молча безутешен  
И каждый где-то был убит,  
Застрелен – смят тюрьмой – повешен.  
Не мной – о, нет! – не за меня,  
Я пыткой – как они терзаем,  
Но страшен странный лик огня,  
Который в полночь зажигаем.  
Неизмеримостью идут –  
Они идут. К какому краю?  
И красный жгут мне светит тут,  
И как помочь им, – я не знаю.

К. Бальмонт

38

Париж. 1926. 3 марта

Дорогой друг Евгений Александрович,

Вы меня опять обманули, я ждал Вас в воскресенье утром, но Вы не приехали и я Вас не дождался.

Вот мое официальное письмо к Вам о Врхлицком и моей работе. Прошу, дайте ему ход не откладывая и будьте другом, настаивайте на возможно большем.

Буду ждать быстрого ответа.

В здешнем Институте славянских изучений, по Вашему указанию, я нашел целый ряд нужных мне книг. А когда и куда именно были отправлены книги Врхлицкого мне? Нельзя ли получить точную справку для розыска их?

Очень был бы признателен Вам за немедленную высылку книги Иенсена о Врхлицком (29) и чешского перевода Тургеневской "Песни торжествующей любви". Очень мне надо.

Когда опять к нам? Ел(ена) К(онстантиновна) кланяется, а я обнимаю Вас

Ваш К. Бальмонт

39

Париж. 1926. 27 марта

Евг.Ал. Ляцкому

Дорогой друг,

спасибо за короткую открытку, в которой для меня обещание многозернистого колоса. Я как раз собирался известить Вас, что весь труд мой окончен. Две тысячи строк. Сейчас переписка. Но срок – недалек.

Увидят гуситы, что я их люблю.

Славянскому слава во век кораблю!

И как раз Ел(ена) К(онстантиновна) вернулась из Soulac-sur-Mer, где нашла нам виллу, куда через 2–3 недели хотелось бы отбыть, если ... если ... До свидания. Ждем Вас в Париже

Ваш К. Бальмонт

40

Париж. 1926. 19 апреля

Дорогой друг Евгений Александрович,  
я так рад, что мы с Вами свиделись во время Вашего приезда в Париж, не сколько, а целых три раза. Я опять прошу Вас стереть в памяти некоторые минуты первого свидания. Я говорил Вам: не только ночь перед этим я не спал, но целый месяц почти не спал, работая над Врхлицким. Кончив работу, я мгновенно успокоился, и наше последнее свидание светит мне ласковым светом дружбы и беседы с умным, особым, неповторимым человеком.

Я послал вчера д-ру Завазалу заказное письмо и просил посодействовать, чтобы редактором моей работы были Вы.

Может быть, Вы въезжаете в Прагу в эти минуты, что я Вам пишу. Счастливый путь – и скорого возвращения сюда – и может быть, и придет радость пожить вместе у Океана. Ел(ена) К(онстантиновна) шлет привет.

P.S. Прилагаю 5 стих(творений) Врхлицкого

Ваш К. Бальмонт

41

39, rue Pierre Nicole, Hotel Nicole, Paris 5<sup>e</sup>

1926. 13 мая

Дорогой друг Евгений Александрович,  
спасибо за успокоительную открытку. Верую и жду. Но так устал, и чувствую, пора бы мне уезжать из Парижа к морю. Когда же, когда же?

Перечитываю "Тундру" и на ближайшей неделе что-то напишу о ней.

Цвет каштана осыпается. Все цветы говорят мне, что деревня лучше города.

Привет Вам

Ваш К. Бальмонт

42

Париж, 1926. 23 мая

Дорогой друг Евгений Александрович,  
я получил два дня тому назад Ваше письмо от 18-го мая. Спасибо за радостную весть о празднике Врхлицкого – Бальмента в Праге, именно так воспринимаю состоявшееся 11 мая собрание членов Чешско-русской Единоты и деятелей Народного университета. Прошу передать мой привет Ф.Ф. Кубке (30), д-ру О. Куру (31), М.М. Новикову (32), профессору Поливке (33), всегда дорогому мне Вас(илию) Ив(ановичу) Немировичу-Данченко (34) и всем друзьям великой мысли о духовном соединении Славянства. Верю, что в осуществлении этой мысли, существующем принести всему миру новый ласковый свет, Чехия явится крепким связующим звеном, – крепкой она была во все века – и близка ее речь языку Руси.

Жду с нетерпением возможности уехать из Парижа к морю. Но возвещенный Вами, в открытке от 5-го мая, "незамедлительный посыл" до сих пор не приходит, – это меня тревожит и лишает возможности выехать. Буду крайне признателен за действительно безотложное получение мною столь крайне необходимых мне денег, и очень прошу об этом.

Елена Конст(антиновна) и я шлем Вам привет и надеемся, что Вы отдыхаете

Ваш К. Бальмонт

P.S. Как жаль мне, что я не был в Праге, когда там звучали напевные строки Врхлицкого по-чешски и по-русски, и молодежь вместе с ушедшими от юности, слушала их!

43

Париж. 1926. 1 июня

Дорогой друг,

итак, май прошел, а я все еще здесь и когда я отсюда выберусь, бог весть. Я не в силах более ждать напрасно. Будьте добры, выясните в Министерстве, что означает такая задержка в посылке обещанных денег за давно доставленный труд. Я не жалуюсь. Я хочу быть в ясности. Ибо если и до половины июня я ничего не получу из Праги, надо мне хлопотать о чем-то другом и доставать денег на выезд отсюда и устроение с летним помещением. Я знаю, что чехи не обманут, но все мои сроки здесь не только окончились, а угрожают превратиться в неистовый кошмар, который может испортить все лето.

Будьте другом, как Вы были ко мне много раз, и сделайте последнее усилие.

Ян Рокита (35) – поэт не сильный, но нежный и часто трогательный. Его сила в его сердечной нежности. Его "Отпущение" – настоящий славянский звук, начало – точно из русской народной песни. Посылаю Вам также "Сон". Это тонко и светло как паутинки. Я ему послал оба перевода и написал. Получил его книги лишь третьего дня. – Как Вы? Отзовитесь поскорее. Ел(ена) К(онстантиновна) шлет приветы.

Жму руку

Ваш К. Бальмонт

44

Париж. 1926. 14 июня

Милый друг,

я был у д-ра Полячека (36). Это очаровательный человек. Он меня обласкал. Завезал послано письмо.

Посылаю Вам "Вечерние говоры" и (твоя от твоих) заметку о Пражском празднике (Ваше письмо), – такая же заметка была в "Сегодня". Терпеливо жду своей судьбы и перевожу Отакара Тэра (37) (или нужно произносить Тхэра?). Дивный поэт тоже. Хотел бы получить его книги. И Бржезину ... Ах! Много чешских поэтов хотел бы получить.

От Яна Рокиты, которому послал два перевода из него, ни звука.

Приветы. Обнимаю Вас

Ваш К. Бальмонт

45

Париж. 1926. VI 25.

Дорогой друг Евгений Александрович,  
я в отчаянии. Я ждал месяц. Я ждал два. Уже половина лета прошла. Что может означать такое замедление? Объясните мне, прошу. Ждать ли мне еще и сколько?

Простите беспокойство. Знаю Вашу дружбу ко мне. Все сроки прошли и я прошу разъяснения.

Приветы

Всегда Ваш К. Бальмонт

Париж. 1926. 26 июля

Дорогой друг Евгений Александрович,  
вот когда лишь я пишу Вам. Конечно, я должен был написать Вам гораздо раньше, но то нервное напряжение, которое длилось больше двух месяцев, не рассеялось, когда получив, наконец, ожидавшиеся деньги 13-го июля за несколько часов до прочного замкнутия Чешского консульства, я на другой день, несмотря на безумие, овладевшее Парижем, уехал с Ел(еной) К(онстантиновной) в Бордо и оттуда на побережье Океана. Сперва мы отчаялись что-либо найти. Все давно уже в приморских местах занято. Добрая судьба однако поворожила нам в Лакан Океанском, и мы там наняли последнюю, еще не вполне достроенную виллу. Надеюсь, что приезжая туда не 25-го, как условились, а 30-го, мы все найдем в порядке. И если судьба приведет Вас во Францию, приезжайте к нам. Наше гостеприимство будет лишь – Твоя от твоих. Простор. Тишина. Лес на многие десятки верст. И лес – не только сосны, а дубы, много дубов, и родные наши березы белоствольные. И озеро. И океан великолепный.

Ну, спасибо Вам, друг. Ведь без Вас всего этого у нас воистину бы не было. И я бы прямо помер.

Ек(атерина) Ал(ексеевна?) шлет привет. А я обнимаю дружески

Ваш К. Бальмонт

P.S. Адольфу Черни и Йосефу Пелишеку (38), письмо которого по странной небрежности "Посл(едних) Новостей" получил лишь на днях (а оно получено 31-го мая!!!), пишу завтра. Собираю свои вещи, чтоб бежать из Парижа на год – до новой весны – до весны в Чехии.

Париж. 1926. 27 июля

Евг(ению) Ал(ександровичу) Ляцкому

Дорогой друг,

шлю Вам две маленькие стрекозки Врхицкого, на днях мною пойманные ("Как самоцвет" и "Лесной напев"). Я знаю, Вы любите такие строки. Когда такие стрекозки вьются, в душе хорошо, как в детстве. Я включил их в "Славянский венок", где соединил два свои обращения к славянам и несколько лучших вещей чешских, польских и сербских. Мечтаю о полном погружении в славянскую стихию

Ваш К. Бальмонт

Lacanau-Océan, Gironde. Villa Midzou

Дорогой друг Евгений Александрович,  
где Вы? Все ли еще в Сербии? Или снова в Чехии и в Праге? Отзовитесь. Вспоминаем Вас с неизменной лаской, и хочется получить от Вас хотя короткое слово. А кстати, я сейчас пишу размышление "Слово ли – слово?". И доказываю, что слово – не слово, а острое действие, и кончаю рассуждение последним Вашим видением "Тундры". Как это метко у Вас! – Мы остаемся здесь до конца октября, а что далее еще не вижу.

Приветы Вам

Ваш К. Бальмонт

Lacanau-Océan, Gironde, Villa Midzou

1926. 27 окт(ября)

Дорогой друг,  
 приветствую ласковую перемену в Вашей жизни. Передайте от меня Вашей юной супруге (и от Ел(ены) К(онстантиновны) тоже – Вам и ей) искренний мой привет, – и скажите ей, что я Вам завидую. Моя знакомая юная (тогда!) художница Маргарита Сабашникова когда-то говорила: "Бальмонт не любит, когда не за него выходят замуж". Формула очаровательная и верная. Но сейчас, хоть завидую Вам, – ей богу же, наконец, в первый раз в жизни, радуюсь браку – другого. Итак, возношу в Вашу честь стакан золотого вина и даже два!

Ваш К. Бальмонт

P.S. Прочтите в воскр(есном) №-е "Посл(едних) Нов(остей)" от 24-го окт(ября) мой очерк, где Вам – хвала.

50

Capbreton, Landes. Little Cottge

1926. 26 ноября

Дорогой друг Евгений Александрович,  
 посылаю Вам письмо Гайнного (39), которое глубоко меня возмутило, и открытку Миролюбова (40), который был еще недавно заведующим в изд(ательст)ве "Пламя". Письмо Гайнного есть ответ на мое запросное письмо, в котором я спрашивал его, когда я получу корректуры моей книги "Русский язык", принятой в "Пламени" два года тому назад на основании, что я не получу вознаграждения вперед и подожду полгода – год печатания. Я считаю поступок "Пламени" со мной непорядочным, "Пламени" вне Вашего глаза. Прошу Вас, научите меня, что мне сделать в данном случае. Я не люблю никаких историй, и предать это дело гласности – мне в том радости мало. К суду прибегать бесполезно, и именно в Праге я в таком лице быть не хочу. Но как же внушить этим людям, что поступок их бессовестный и что они не смели так поступить со мной, как будто я бесправный илот? Буду ждать от Вас совета.

Это письмо сие – мучительное не только для меня, но, думаю, и для Вас, в моих затруднениях неповинного. Дайте же высказать мне все, что меня терзает в мои праздничные дни лесного и океанского новоселья. Получил я вместе с двумя-тремя писателями ежемесячную тысячефранковую помощь (от Л.М. Розенталя). По неведомой мне причине это кончилось. И я в страхе: а что если и другие суммы, которые дают возможность не помирать, тоже возьмут да и кончатся? Предельный новый год не заносит над нами меча в Праге? Продлятся 500 фр(анков) в месяц или нет? Если не продлятся, это близко и угрозе гибели. Ведь за печатание, скопое и редкое в двух газетах и одном журнале я получаю три гроша. Вот и об этом жду Вашего слова.

От Завазала я, конечно, никакого ответа не получил, когда и где будет печататься мой Врхлицкий. Почему ль бы ему не печататься теперь же? Вот и об этом, добрый друг, жду Вашего слова.

И наконец, бросаю последний груз. Мне очень хочется получить несколько шведских книг новейших. Коли бы Вы могли мне их послать или попросить о том Ваших стокгольмских приятелей, так был бы Вам признателен.

Мы поселились на год в Капбретоне. Я и Ел(ена) К(онстантиновна). – Мирра в Париже. Анна Ник(олаевна) тоже. Приезжайте ко мне отдыхать. Лес кругом. Скоро засияют мимозы. Если б люди походили на природу, как хорошо было бы жить.

Привет Вашей юной супруге. Вам кланяется Ел(ена) К(онстантиновна).

Да светит Вам солнце!

Сердцем Ваш К. Бальмонт

Увы, в последнюю минуту куда-то ее (открытию Миролюбова. – Э.О.) засунули. Пошли ее в ближайшем письме. Миролюбов в один из летних месяцев писал мне, что "Рус(ский) язык" будет издан, но не знают когда.

51

Capbreton, Landes. Little Cottage

1926 XII 9.

Дорогой друг Евгений Александрович,  
ждал я от Вас отклика на свое заказное письмо, но его все нет. Только что нашел  
письмо Миролюбова, о котором упоминал. Прилагаю.

Не имея слов об Вашем отношении к происшедшему, не делал никаких шагов  
по отношению к "Пламени" и Гайному. Итак, жду. Как Вы? Как дела? Здоровье?  
Счастье?

Я перевожу Маху, Бржезину, Сову, Тэра, Томана, Волькера (41). Хочу за зиму  
перевести сотню – другую наилучших вещей, лучших чешских поэтов и, говоря  
словами Батюшкова, на этом –

"Я основал свои надежды  
И счастье нынешней зимы".

Дружески обнимаю Вас. Ел(ена) К(онстантиновна) шлет привет

Ваш К. Бальмонт

P.S. Очень бы мне нужно получить все произведения Махи. У меня есть только поэма  
Máj.

52

Мыс Бретонский. 1926 XII 22.

Е.А. Ляцкому

Дорогой друг,

шлю Вам и спутнице Ваших дней привет к Святкам и Новому Году. Желаю Вам  
наименьшей (возможной) озабоченности хоть на эти недолгие сроки праздников, для  
меня как раз затянутые серой паутиной забот. Впрочем, я ведь солнечный и упорно  
верю лучу. Поэтической алхимией часть солнечных лучей, здесь щедрых, преобра-  
жаю в стихи. Синицы, со мною содружно, звенят на остывших ветвях.

Прилагаю копию моего письма к Гайному. Думаю, Вы ободрите меня. И тут  
"кончую базар". Письмо Мирова или верните мне, или уничтожьте. Пазуркевичу  
пишу. Елена Константин(овна) шлет Вам лучшие приветы.

Обнимаю Вас дружески

Ваш К. Бальмонт

53

Capbreton, Landes. Little Cottage.

1927. 7 ноября

Дорогой друг,

я только что с грустью прочел в "Посл(едних) Нов(остях)", что оправдались горестные  
предчувствия об уменьшении в Праге, – до сих пор бывшей единственным средо-  
точием не отброшенных зарубежных русских, того единственного к нам сочувствия,  
без которого трудно сейчас жить. Отсутствие (до сегодня) того, что приходило из  
Парижа 3-го – 4-го каждый месяц, по-видимому, указывает, что это коснулось и нас  
здесь и меня, в частности, – в ту самую минуту моей жизни, когда я целиком отдался  
передаче чешских поэтов на русский язык.

Ваш К. Бальмонт

Капбretон. 1927. 8 янв(аря)

Дорогой друг,

посылаю Вам копию моего только что отправленного письма к Завазалу. Б(ыть) может, оно Вам как-то пригодится. Сейчас из Парижа пришли 500 чешских крон в франках. Но ведь мое письмо общего характера. Хотел бы думать, что оно будет хоть каплей влияния там, где Вы столько уже сделали, добрый и благородный спутник тяжелых дней. Ах, я в эту минуту вспоминаю, как мы сидели когда-то в уютной гостииной Котляревских в Петербурге и, кажется, оба несколько были влюблены в Веру Васильевну, которой я написал предивный стих "Хлопоты Тумана" (вошел в "Горящие Здания").

Не знаете ли, почему доселе мне не посыпают корректуры моего Врхлицкого? Где он?

Ваши книги ("Гончаров" и "Тундра") в сундуках, еще не пришедших. Не могу ли снова их получить для статьи о Вас?

Ваш К. Б(альмонт)

P.S. Елена К(онстантиновна) шлет нежный привет.

55

Капбretон. 1927. 26 янв(аря)

Почему не откликнетесь?

К. Б(альмонт)

56

Zakopane, Harenda

1927 1 июня

Дорогой друг Евгений Александрович,  
где Вы и как Вы? Мы, я и Ел(ена) К(онстантиновна), гостим у Марии Каспович (42) после триумфальной поездки по Польше (Варшава, Белосток, Лодзь, Вильно, Гродно, Львов, Krakow, Poznań, Warszawa). 9-го уезжаем в Krakow. 11-го или 12-го хотел бы отбыть на неделю в Прагу и прочесть "Чешская поэзия и русская душа". Писал о своем желании Завазалу, Папоушку (43) и Елинеку (44). Буду Вам очень признателен, если Вы со своей стороны похлопочите, чтобы чешский Pen-клуб сделали для меня то же, что польский, т.е. пригласили меня в Прагу на несколько дней гостем. Билеты 1-го класса мне и Ел(ене) Константиновне выданы до ст(анции) Дзедзице. А дальше? Будьте другом и в этом, поговорите, поубедите, поторопите и подтолкните! Жажду хоть кратко побывать в Праге и, б(ыть) м(ожет), в Брно. Здесь чудесная весна. В сердце и сладко, и больно.

Привет Вам и Вашей юной избраннице от меня и Ел(ены) К(онстантиновны).

Ваш К. Бальмонт

57

Капбretон. 1927. 17 окт(ября)

Дорогой друг,

я был очень рад получить Ваше ласковое письмо. Посылаю Вам для сборника имени Врхлицкого три перевода его стихов: "Как сон", "Гомер" и "Расширьте бога". Страницу прозы о нем пошлю Вам вдогонку, дня через 3–4.

Считаю нужным указать, что как бы ни было бедно общество имени Врхлицкого, его русский переводчик, конечно, еще беднее, и потому какое-н(ибудь) скромное вознаграждение послать мне нужно.

И не заступитесь ли Вы за меня, добрый друг? Вы знаете, что во имя Врхлицкого я изучил чешский язык. Над изучением его творчества работал более года. Уже полтора года книга моих переводов из него лежит в Праге без движения. Когда летом я уезжал из Праги, консул З. Завазал сказал мне о решении на заседании министров, осенью эту книгу печатают. "Подробности", — сказал он, — "в конце лета сообщит письмо Ад(ольф) Черни. Никакого письма от Черни я не получил. Любезно, дважды написал ему сам и во втором письме приложил свой перевод его стих(отворения) "Гитара". Ни звука в ответ.

Знаете, слово "вероломство" очень крайнее. Но какое слово мне тут найти?

У чехов не было переводчика их поэзии в России. Они его нашли, и преданного. Уже ряд вещей из ряда поэтов я перевел: Врхлицкий, Маха, Неруда (45), Бржезина, Сова, Безруч (46), Томан, Рокита, Тэр, Волькер, Кубка, Пелишек, Медек (47), Шварцова и др. и др.! Или над этой преданностью нужно издеваться? Сердце ведь сразу умеет отвертываться и уйти.

Будьте же милым и устыдите, кого нужно.

Ел(ена) К(онстантиновна) шлет нежный привет.

Ваш К. Бальмонт

58

Капбретон. 1927. 18 окт(ября)

Дорогой Евгений Александрович,  
вчера ночью я опустил Вам письмо, а сегодня утром получил премилое письмо от А. Черни, прекратившее мою тревогу и обиду, ибо он обещает твердо через две недели прислать мне корректуры Врхлицкого моего, и обещает к декабрю выпустить книгу. Ура! Но ура, если это не басня. Уж Вы последите? Правда? Ведь Вы крестный отец этого моего труда и крестный отец добрый и щедрый. Довершите сие, друг!

Очень мне также нужны бодрость, чтобы продолжать, не прерывать усердно мною начатую линию приготовления сборника "Чешские поэты 19-го века и начала 20-го". Я уж для этого сделал изрядно.

Страница прозы о Врхлицком для сборника о нем только что, четверть часа тому назад, излилась в форме сонета. Посылаю. Ежели сего не довольно, поставьте вопросы, что мне о нем сказать. Скажу, если сумею, и в прозе.

Приветы Вам и Вашей избраннице. Искренне Ваш

К. Бальмонт

59

Le Bouscat, Gironde, 11 rue Lorta

1929. 12 февраля

Дорогой друг Евгений Александрович,  
грустно мне, что в моей чрезмерно осложненной переобремененности (славное словечко!) заботами, работами и изучениями я пишу Вам сейчас не только из потребности перекинуться с Вами словечком, но из корысти некоей также. Оная корысть однако не меня лишь касается, а и других русских писателей, живущих во Франции. Мне казалось, что именно в 1928—1929-м году между пражанами-чехами и пражанами-русскими закрепилось, даже и внешне, взаимосочувствие. Неужели наиболее подходящее проявление таких чувств должно было между прочим выразиться в том, что мы, русские писатели здесь, пользовавшиеся доселе добной чешской помощью (500 чешских крон в месяц) должны были не только этой помочи лишиться, но нас даже не известили, что мы ее лишаемся?

В частности, я лично ведь много трачу моего рабочего времени на изучение чешской литературы и переводы чешских поэтов, а ввиду трудностей печатания эти мои работы выходят так, производятся бога для. Но в 1-ом Послании к коринфянам

св. Павел справедливо восклицает (гл. 9,7–13)! – "Какой воин служит когда-либо на своем содержании?" – Разве Вы не знаете, что священодействующие питаются от святыни? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?

И к нам и ко мне лично Вы были неоднократно добры и участливы. Итак, прошу, разъясните сие и, если тут состоялось недобroe решение, злое постановление, хотя известите о нем, прошу, а если можно, повлияйте в сторону доброго перерешения. Как Вы? Как здоровье? Что делаете? Что пишете?

Я до 28-го февраля остаюсь здесь, затем еду в Париж, а 8-го марта еду для выступления в Белград. Намерен побывать и в Хорватии, и в Болгарии. Ваша избранница (прошу передать ей привет), кажется, хорватка?

Я за истекший год поработал, кроме чешской поэзии, над народной песней Литвы, Сербии, Хорватии и Болгарии. Много кое-чего перевел. Замышляю в этой области нечто значительное.

Елена Константиновна шлет Вам привет. Мы в Сербию едем, конечно, вместе. Дочь моя Мирра в Париже. Я увлек ее болгарским языком и чешским. Сам я в добром здравии, но больше в грусти.

Всего лучшего Вам

Ваш К. Бальмонт

60

Capbreton, Landes. Malgré tout.

1929. 10 октября

Дорогой друг Евгений Александрович,  
уже сто лет, кажется, прошло с тех пор, как проливной дождь помешал нам в Белграде побывать у Вас, а потом мы ехали в Любляну, в Загреб, в Болгирию. По приезде во Францию мы вернулись в Капбретон и наняли виллу на год. Океан и юг посыпают нам свои чары ежедневно.

Как Вы? Как Вам съезд славистов, на который Бальмонт не приглашен? Работаю над приведением в порядок моих очерков о Чехии и переводов из чешских поэтов. Это составит книгу страниц в 200. Может, по дружбе похлопочите, чтоб чешское правительство издало ее? Казалось бы, для Чехии в том почет, а для меня почет и хлеб.

Елена Константиновна и я, мы шлем приветы Вам и очаровательной Вашей супруге. Мы живем здесь совсем деревенской жизнью. Океан гудит нам симфонии.

Ваш К. Бальмонт

61

Capbreton, Landes, Malgré tout.

1929. 29 ноября

Дорогой друг,

я тоже обрадовался Вашему письму, но увы мне, сейчас же почувствовал жало. Вы пишете, что далеко не все чехи удовлетворены моими переводами Врхлицкого. Во-1-ых, почему же ни слова Вы мне об этом не сказали, когда мы так дружески встретились в Белграде? Во-2-ых, сообщить мне такое глухое обвинение, не указывая, ни в чем оно состоит, ни от кого именно исходит, это все равно как если бы меня кто-то ударил в толпе и в темноте. Весьма прошу Вас, укажите мне, кто эти высокородные чехи, любящие и понимающие Врхлицкого и задачи поэтического перевода лучше, чем я, и чем именно я им не угодил. Мне это не только любопытно, но и строго необходимо это знать: Я обратился уже к некоторым чехам, обещавшим посильно хлопотать об издании моей книги "Из чешских поэтов", и собираюсь написать еще нескольким. Итак, я должен знать, кто мои враги, чтобы ошибкой не обра-титься к врагу.

Привык думать за эти 3–4 года, что изучаю чехов, и привык слышать от таких достойных чехов, как Антонин Сова, Ян Рокита и др(угие), что мои переводы превосходны и что, делая их, я оказываю Чехии честь. И конечно же, русский перевод выводит чешскую поэзию из узкого угла на мировой путь.

Буду ждать ответа.

Привет Вам

Ваш К. Бальмонт

P.S. Елена К(онстантиновна) просит кланяться супруге Вашей и Вам.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бальмонт К. Избранное.* М., 1983.
2. *Бальмонт К. Гамаюн. Избранные стихи.* Стокгольм, 1921.
3. *Бальмонт К. Где мой дом. Очерки 1920–1923 гг.* Прага, 1924; *Balmont K. Kde můj dům / Prěložil A. Kurz.* Praha, 1927.
4. *Бальмонт К. Мое – Ей. Россия.* Прага, 1924.
5. *Бальмонт К. Стихотворения.* Л., 1969. С. 70.
6. *Пастернак Б. Заметки переводчика // Знамя.* 1943. № 1–2. С. 165–166.
7. *Врхлицкий Я. Избранные стихи / Пер. с чешского К.Д. Бальмонта.* Несколько вступительных слов о Я. Врхлицком Я. Рокиты. Прага, 1928.
8. *Лаптева Л.П. Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии // Русская литература.* 1990. № 3. С. 169–179.
9. *Бальмонт К. Образцы чешской поэзии // Воля России.* Прага, 1927, № 4. С. 29–44.
10. *Ляцкий Е. О переводах вообще и русском переводе Ярослава Врхлицкого в частности // Славия.* 1931. № 10. С. 538–569.
11. *Literarní pozůstalost: Jevgenij Alexandrovic Ljackij. Literární archiv Muzea českého písemnictví.* 52/69. *Korespondence přijatá osobní.* Balmont Konstantin. 49, 1920–1929.

## КОММЕНТАРИИ

1. Лекция "Поэзия как волшебство" была прочитана Бальмонтом в 1914 г., вошла в книгу: *Бальмонт К.Д. Поэзия как волшебство.* М., 1922.
2. Очерк "Любовь и смерть в мировой поэзии" обнаружить не удалось.
3. Известна книга: *Бальмонт К. Семь поэм.* М., 1920. Неясно, идет ли речь еще о каких-то поэмах.
4. Очерк под названием "У парижского камина" обнаружить не удалось, но несколько очерков с подобной тематикой содержит книга Бальмонта "Где мой дом".
5. Гребенщиков Георгий Дмитриевич (псевдоним Сибирияк, 1882–?) – русский писатель, после революции эмигрант, живший в Париже.
6. Куприн Александр Иванович (1870–1938) – русский писатель, проживавший в то время в Париже.
7. Тэффи Надежда Александровна (1872–1952), псевдоним Бучинской, урожденной Лохвицкой, – русская писательница-юмористка, добная знакомая Бальмонта и Ляцкого.
8. Яковлев, работавший в 1923 г. в издательстве "Пламя", возможно, это Яковлев Николай Васильевич (1883–?), который в 1921–1922 гг. в Берлине сотрудничал в журналах "Русская книга", "Новая русская книга", "Руль" и других изданиях.
9. Огни. Еженедельная газета, посвященная вопросам культуры, науки, искусства и литературы. Ред. проф. Е.А. Ляцкий. Издательство Ф.В. Рихтер. Прага, 1924.
10. "Золотой обруч" – цикл стихотворений, опубликованный в книге Бальмонта "Мое – Ей. Россия". (Прага, 1924).

11. Лекция Бальмонта "Русский язык" публиковалась несколько раз, в частности, в журнале "Современные записки". Кн. 19. Париж, 1921.
12. Мельникова-Папоушекова Надежда Филаретовна (1891–?) – жена советника Министерства иностранных дел Чехословакии, публициста Я. Папоушки.
13. Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – русский поэт-романтик; Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – русский поэт лирико-философской направленности.
14. Речь идет о наиболее известных книгах Бальмонта: "Горные вершины" (1900), "Фейные сказки. Детские песенки" (1905), "Морское свечение" (1910), "Белый зодчий" (1914), "Край Озириса" (1914), "Ясень" (1916).
15. Елена Константиновна Цветкова – третья жена Бальмонта, была с ним в эмиграции во Франции.
16. Сельма Лагерлёф (1858–1940) – шведская писательница, в 1909 г. получившая Нобелевскую премию.
17. Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский поэт, романист, философ; жил в эмиграции во Франции.
18. Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929) – русский изобретатель.
19. Тураев Борис Александрович (1868–1920) – выдающийся специалист по истории древнего Востока, египтолог и эфиопист; Брэстед, Джемс, Генри (1865–?) – египтолог, профессор Чикагского университета; Масперо Гатсон, Камиль, Шарль (1846–1916) – крупнейший французский египтолог; Викентьев Владимир (?–1960) – русский египтолог, с 1923 г. проживавший в Каире в Египте; Капар Жан (1877–1947) – бельгийский египтолог; Морс Александр (1868–1938) – французский египтолог.
20. Мирра – дочь Бальмонта.
21. Анна Nikolaevna Иванова – друг семьи Бальмонта.
22. Бальмонт К.Д. Злые чары. Книга заклятий. М., 1906.
23. Ляцкий Е.А. Роман и жизнь. Развитие творческой личности И.А. Гончарова. Прага, 1925.
24. Сегодня. Независимая демократическая газета. ред. М.И. Ганфман, М. Мильруд. 1920–1939.
25. Последние новости. Ежедневная газета. Основатель М.Л. Голдштейн. Ред. П.Н. Милюков. Париж, 1920–1939.
26. Доктор Завазал Зенон Иосифович – консул Министерства иностранных дел Чехословакии, принимал участие в работе издательства "Пламя".
27. Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – русский писатель, эмигрировал в 1922 г., жил в Париже.
28. Ляцкий Е. Тундра. Роман из беженской жизни. Прага, 1925. Ч. 1, 2.
29. Jensen A. Jaroslav Vrchlický/Pfeložil ze Švedštiny A. Kraus. Praha, 1906.
30. Ф.Ф. Кубка (1894–1969) – чешский писатель, публицист и переводчик.
31. Доктор Антонин Курц – переводчик на чешский язык книги Бальмонта "Где мой дом".
32. М.М. Новиков – ректор Русского народного (свободного) университета в Праге.
33. Профессор Иржи Поливка (1858–1933) – крупнейший чешский славист.
34. Немирович-Данченко Василий Иванович (1845–1936) – русский прозаик, автор многочисленных романов и рассказов; в Праге с 1923 г.
35. Ян Рокита – литературный псевдоним чешского поэта и переводчика школы Врхлицкого Адольфа Черного (Черни) (1864–1952).
36. Доктор Антонин Полачек – представитель Министерства иностранных дел Чехословакии в Париже.
37. Отакар Тээр (1880–1917) – чешский поэт философской направленности.
38. Пелишек Иозеф (1889–1969) – чешский поэт и журналист, переводчик русской прозы; с 1919 г. служащий Министерства иностранных дел Чехословакии.
39. Гайний Иосиф Войцехович – консул Министерства иностранных дел Чехословакии, был связан с издательством "Пламя".
40. Вероятно, имеется в виду сотрудник издательства "Пламя" Миролюбов Виктор Сергеевич.

41. Чешские поэты: К.Г. Маха (1810–1836) – поэт-романтик; Отакар Бржезина (1868–1929) – представитель символизма; Антонин Соба (1864–1928) – представитель "модерны" в поэзии; Карел Томан (1877–1946) – поэт, прошедший путь от анархического индивидуализма к идеям социальной революционности; Иржи Волькер (1900–1924) – представитель пролетарской поэзии 20-х годов.
42. Вероятно, родственница польского писателя, произведения которого Бальмонт перевел с польского на русский язык: *Каспирович Я.Н. Книга смиренных*. Перевод с польского и предисловие К.Д. Бальмонта. Варшава, 1928.
43. Папоушек Ярослав (1890–1945) – чешский публицист, советник Министерства иностранных дел Чехословакии.
44. Елинек Гануш (1878–1944) – чешский писатель и переводчик, видимо, способствовавший приезду К.Д. Бальмонта в Прагу. Приехал он в первой половине июня 1927 г. как гость чешского Пен-клуба, где была с ним встреча 14 июня. 18 июня он был приглашен на прием, устроенный президентом республики в честь делегации чешских женщин из США. Вечером того же дня сделал доклад в Общественном клубе на тему "Чешская поэзия и славянская душа". Поэтесса Ружена Шварцева (1893–1973) прочитала стихи, обращенные к нему. 21 июня Бальмонт уехал в Париж. (См. статью: *Морковин В. Бальмонтовские страницы // Чехословацкая русистика. XII (1967) № 1. С. 3–7.*)
45. Неруда Ян (1834–1891) – чешский поэт и прозаик.
46. Безруч Петр (1867–1958) – чешский поэт (псевдоним Владимира Вашека).
47. Медек Рудольф (1890–1940) – чешский писатель и драматург.



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Славяноведение, № 4

*S. NIEBRZEGOWSKA. Sennik jako gatunek polskiego folkloru. Słownik i semantyka. Rozprawa doktorska. Lublin, 1995. Cz. I, II. 494 S. Polski sennik ludowy. Lublin, 1996. 297 S.*

**С. НЕБЖЕГОВСКАЯ.** Сонник как жанр польского фольклора. Словарь и семантика (докторская диссертация). Польский народный сонник.

В 1995 г. Ученый совет Люблинского университета им. М. Кюри-Склодовской обратился к Н.И. Толстому, доктору honoris causa этого университета, с просьбой дать отзыв о докторской диссертации Станиславы Небжеговской "Сонник как жанр польского фольклора. Словарь и семантика" (в нашем журнале в 1994 г., № 5 была опубликована статья С. Небжеговской под тем же названием). Ознакомившись с работой и высоко оценив ее, Н.И. Толстой подробно изложил свои мысли и замечания С.М. Толстой и попросил записать их, что и было сделано. Отзыв был направлен в Люблин и сыграл свою роль в успешной защите диссертации. Высказанное в конце отзыва пожелание скорейшей публикации работы в виде книги было осуществлено издательством Люблинского университета в 1996 г.

Автор рецензируемой диссертации принадлежит к польской этнолингвистической школе, возглавляемой проф. Е. Бартминским и получившей широкую известность в мировой гуманитарной науке своими новыми подходами к изучению традиционной народной культуры славян и прежде всего языка культуры (в лингвистическом и семиотическом смысле слова). Работа С. Небжеговской не может восприниматься и оцениваться вне ее научного контекста, который составляют многочисленные богатые идеями и практическими разработками языкового, фольклорного и этнографического материала труды других представителей этого

направления, особенно люблинского научного коллектива, работающего над "Словарем языковых стереотипов". Но и на этом ярком фоне исследование С. Небжеговской – значительное явление, заполняющее ощущимую лакуну в научных представлениях о "народной картине мира", о присущей ей системе ценностей, о структуре и символике ее элементов и корпусе ее текстов. Народные толкования снов по существу еще не были предметом изучения. Для фольклористов это были тексты, не достигающие ранга фольклорных из-за недостаточной устойчивости их структуры и жанровой неоформленности; этнографы, занимающиеся духовной культурой и верованиями, пренебрегали ими отчасти из-за их слабой ритуализованности, отчасти из-за их "вторичности" по отношению к письменным текстам сонников, широко распространившимся в славянской среде со времен средневековья. Все эти особенности, объективно присущие устным толкованиям снов, действительно затрудняют их изучение и требуют специального комплексного подхода и особого концептуального аппарата, учитывавшего и структурный, и семиотический, и прагматический, и аксиологический аспекты анализируемого объекта. Наконец, препятствием к серьезному изучению народного сонника была скучность материала, неполнота, отрывочность и случайность имеющихся записей. С. Небжеговская в своей работе впервые представила если не исчерпывающий, то достаточно

репрезентативный и строго систематизированный материал, извлеченный из этнографических, фольклорных и лингвистических источников и существенно дополненный собственными полевыми записями из разных районов Польши, но особенно богато представляющими Люблинский регион. Без такой солидной фактической базы подобное исследование было бы невозможно.

В диссертации С. Небжеговской польский народный сонник получает освещение с "внешней" и с "внутренней" стороны. К "внешней" характеристики относятся вопросы функционирования текстов сонника в народной традиции, их соотношение с другими верbalными жанрами народной культуры (приметами, предсказаниями, загадками и др.) и, что особенно важно, с аналогичными письменными текстами, а также проблема географического варьирования сонника. "Внутренняя" характеристика раскрывает семантику, структуру и pragmatiku текстов сонника. Эти разные аспекты изучения текстов сонника неизбежно "уводят" автора в разные, часто достаточно специальные и автономные области филологии и культурологии, такие как народная литература и книжность, семиотика, теория и структура текста, теория жанра, ареалогия, лингвистическая pragmatika, когнитивная лингвистика и др. Во всех этих областях С. Небжеговская обнаруживает не просто осведомленность и начитанность, но глубокое понимание концептуальных основ и свободное владение специальными приемами анализа. В то же время при столь широком диапазоне точек зрения автору удалось сохранить цельность подхода и создать в результате единое объемное и спаянное внутренней логикой представление об изучаемом предмете. Эту цельность обеспечила применяемая в работе этнолингвистическая методика, позволяющая за каждым отдельным фактом и явлением культуры видеть стоящую за ними народную "картину мира" и определенную, исторически сложившуюся систему ценностей.

В основе предложенного в диссертации подхода лежит тезис о том, что устный народный сонник – самостоятельный фольклорный жанр, особый вид текстов, конституирующими признаками которого являются семантика (содержание сновидения и коррелирующего с ним события или явления действительности), структура (логическая связь "X значит Y", "если X, то Y" и т.п.) и pragmatika (интенция сонника

– прогнозирование будущего). Что касается языковой стороны, то для сонника не характерна жесткая клишированная форма, какую можно наблюдать в песнях, поговорках, пословицах, загадках и т.п. Но если такой стереотипности нет на уровне вербальном, то на уровне семантическом она явно присутствует. Эти наблюдения автора, безусловно, справедливы. Следует только заметить, что отсутствие жесткой вербальной формы характерно в той или иной степени для всех прозаических жанров фольклора, а нередко и для поэтических текстов, локальные варианты которых показывают достаточную свободу синонимических замен отдельных слов и синтаксических конструкций. В этом отношении толкования снов, отличаясь, например, от загадок, имеющих как правило высокую степень клишированности, близки к приметам, запретам, предписаниям и т.п., вербализация которых не имеет жесткого характера.

В значительной степени подобной свободой отличается и структура текстов сонника, что отражается в многообразии используемых в нем синтаксических конструкций, ср. Deszcz to płacz; Jak deszcz się śni to płacz; Jak się ksiądz przyśpi, to tam kłopoty и т.п. Структурное единство этих текстов проявляется не на формальном, а на логическом, содержательном уровне. В диссертации формальная структура сонника подробно не рассматривается. Между тем она также заслуживает внимания, особенно в связи с тем, что в реальном бытовании две части текста, связанные отношением тождества или причинно-следственным, могут принадлежать разным лицам: субъекту сна или другому лицу, сообщающему об увиденном во сне, и субъекту толкования, объясняющему то, что должно соответствовать этому сну в действительности. В таких случаях каноническое единство текста нарушается, и приходится говорить не об одном, а о двух текстах, каждый из которых имеет свою особую pragmatiku (своего отправителя и адресата, свою интенцию и т.д.). Ср. аналогичную ситуацию с загадкой и отгадкой.

Большой интерес представляют наблюдения С. Небжеговской о pragmatice сонника. Символическое значение сна нередко определяется не только его содержанием, но и тем, кому приснился сон (мужчине или женщине, молодому или старому, девушке или замужней женщине и т.п.). Здесь следовало бы учесть также и

фактор времени: сон может иметь разные значения в зависимости от того, когда (в какой день недели, накануне какого праздника, в какой час ночи и т.п.) он приснился; предсказательная сила сна также зависит от времени, например, сны "исполняются" в одни дни недели и "не исполняются" в другие, сны могут быть значимыми только "до обеда" и т.п. Заслуживают внимания также и запреты рассказывать те или иные сны, например, сны о посещении того света. Главной прагматической характеристикой сонника С. Небежевская считает интенцию прогнозирования будущего. То, что сон, по народным представлениям, может прогнозировать будущие события реальной жизни, несомненно, хотя, как кажется, это не единственная его функция. Сон может также "программировать" жизнь, побуждая человека к тем или иным действиям или предписывая ему те или иные способы поведения или запреты. Сон может сообщать об уже случившихся, но оставшихся неизвестными событиях, например, сообщать о смерти или болезни отсутствующего члена семьи. Сон может, наконец, "интерпретировать" прошлое, т.е. объяснять, "истинный", скрытый смысл реально совершившихся событий. Если же речь идет об интенции, то она, собственно говоря, принадлежит не самому тексту, а ситуации его произнесения, точнее – лицу, который является отправителем текста. В случае сонника это может быть либо лицо, совмещающее в себе роль рассказчика и роль толкователя, либо два разных лица. Человек, произносящий текст типа "дождь – к слезам", скорее всего толкователь, так как рассказчик должен сначала сообщить о факте и содержании сновидения: "мне (или другому лицу) приснился дождь". Эта часть текста не имеет "интенции прогнозирования", она лишь информирует о содержании сна. Вторая же часть (толкование) может быть прогнозом, но только в случае, если в фокусе внимания оказываются "состояние мира в будущем", будущие события: "мне приснился дождь, значит я буду плакать". То же по содержанию выражение, взятое вне ситуации рассказа о сне, – "дождь во сне – к слезам" – не является в обычном употреблении прогнозом, а представляет собой простую констатацию существующей в сознании говорящего связи между сном и действительностью. Таким образом, об интенции сонника можно говорить, только если рассматриваются конкретные коммуникативные ситуации, в которых эти тексты

произносятся. Взятые в отрыве от ситуации формулы типа "дождь – к слезам" не имеют прагматических признаков (в том числе интенции прогнозирования), они могут приобретать их лишь в конкретном речевом акте.

Непосредственным объектом анализа в диссертации являются не конкретные "высказывания" о снах и соответствующих им реальных событиях, а абстрактные логические формулы, констатирующие связь между тем, что называется в диссертации "образом" (содержание сна), и тем, что называется толкованием (*wykładnią*, действительные события). Это отнюдь не недостаток работы, поскольку ее главная цель заключается в том, чтобы построить семантическую модель, т.е. определить характер семантической связи между образом и толкованием, а эта связь остается постоянной в любом прагматическом контексте. Она мотивируется не функционированием текстов, а ментальными стереотипами, составляющими "народную картину мира".

Центральные главы диссертации, посвященные символике и аксиологии сонника (разделы III, IV, V), опираются на тот корпус фактов, который представлен в приложенных к диссертации словарях. Один из них систематизирует весь собранный материал в направлении от образа к толкованию, другой – в противоположном направлении: от толкования к образу. Словари имеют самостоятельную научную ценность как первые и единственные компендиумы польского народного сонника. Они одновременно – и результат проделанной автором огромной работы по сбору и систематизации фактов, и необходимая материальная база для разностороннего и глубокого семантического и этнолингвистического анализа.

Прежде чем анализировать отношение между образом и толкованием, С. Небежевская дает подробное описание того и другого, отмечая преобладающий конкретный характер образов и аксиологическую окраску толкований. Сам по себе набор образов, получающих толкование в соннике, не случаен и достаточно ограничен, и в диссертации это убедительно объясняется особенностями традиционной категоризации и символизации мира. Автора можно упрекнуть лишь в том, что зачастую она слишком зависит в своем анализе от конкретной языковой формы образов в текстах сонника, отождествляя слово с образом. Так, например, если в тексте толкуются "овоце", то это не образ

в прямом смысле слова, т.е. не обязательно то, что увидено во сне (во сне можно видеть только яблоки, или только груши, или и то и другое), а определенная "категория образов", к каждому элементу которой приложимо данное толкование. Точно так же, если говорится, что видеть во сне покойника означает то-то или то-то, то образ – не покойник вообще, а любой конкретный умерший – родственник или знакомый. Это еще раз показывает, что тексты сонника дают некоторую обобщенную форму толкования, а не толкуют конкретные образы сна. Сонник в таком виде, т.е. как перечень подобных соответствий ("дождь – это слезы"), представляет собой не столько корпус текстов одного жанра, сколько род грамматики или словаря, будучи "инвентарем" парадигматических элементов, из которых строится бесконечное множество реальных, коммуникативно "погруженных" текстов, толкающих сны.

Принципы соотнесения (семантического отождествления) образа и толкования проанализированы в диссертации очень обстоятельно и убедительно. Если не считать принципа противопоставления, специфического для материала сонника и, безусловно, связанного с народным восприятием сна как "обратной, перевернутой" действительности, то все остальные принципы имеют не специфический, а более общий характер и находят подтверждение не только в соннике, но и во всех прочих формах культуры, основанных на символизации окружающего мира (магических ритуалах, верованиях и др.). Поэтому принцип противоположности следовало бы выделить из всего ряда рассматриваемых мотиваций как имеющий совершенно другую природу, не общесимволическую, а жанрово-специфическую, определяемую не свойствами "образа", а интерпретацией самого сна как явления, обратного действительности. Этот принцип (противоположности) оказывается "помехой" и при рассмотрении системы оценок, так как несоответствие аксиологического толкования образа его стандартной оценке всегда можно объяснить включением принципа противоположности.

По поводу отдельных мотивировок можно высказать частные замечания или сомнения. Например, предложенное объяснение семантической связи "księżyca – ciąża" кажется неубедительным: связь луны с женским началом и специально с физиологией женщины имеет мифологическое

осмысление и подтверждается как языковыми, так и этнографическими данными. Символический бином "koń – zdrowie" объясняется в работе через фразеологизм *zdrowý jak koń*, однако фразеологизм сам нуждается в мотивировке (впрочем, здесь в обоих случаях достаточной мотивировкой служит сила коня, тогда как, например, в случае "тубы – zdrowie" и *zdrowy jak ryba* мотивировка имеет совсем другой – мифологический – характер). Несмотря на такого рода частные замечания, предложенный в диссертации анализ семантики и символики "образов" в целом должен быть признан очень удачным и полезным для дальнейшей разработки проблемы символики языка культуры на другом материале.

Выявленные в соннике принципы и механизмы символизации во многих случаях находят параллель в других жанрах народной культуры: в метафорах песенных текстов, в этимологической магии и т.д. и, таким образом, характеризуют сонник как органическую часть устной народной традиции. Наблюданная в соннике множественность толкований одних и тех же образов должна быть признана вполне естественным следствием того, что символизации могут подвергаться разные свойства и характеристики, составляющие образ, разные "профили" одного образа (менее убедительным кажется объяснение подобной вариативности и противоречивости толкований абстрактной "амбивалентностью").

Важнейшей чертой сонника является аксиология действительности, лежащая в основе любого толкования. В диссертации обстоятельно исследована эта сторона вопроса и реконструирована система ценностей, отраженная в толкованиях снов. Среди выделенных автором оппозиций типа "живой – мертвый", "молодой – старый", "светлый – темный" немало универсальных, характерных для всех или большинства традиционных культур и сводимых в конечном счете к оппозиции "хороший (добро, здоровье, счастье, жизнь и т.д.) – плохой (зло, болезнь, несчастье, смерть и т.д.)". Эти оппозиции имеют разный вес и препрезентируют разное число образов, но все они так или иначе помогают понять механизм аксиологизации в народной культуре и внутреннюю иерархизацию ценностей. Для носителя традиционного миропонимания оценка положения дел в будущем важнее конкретного событийного наполнения будущего, поэтому так часты

толкования, содержащие одну лишь оценку: "сөс dobrego" или "сөс niedobrego".

Символизация и аксиологизация как два основных принципа толкования снов, формирующие семантическую модель польского устного сонника, не являются чем-то специфическим именно для данного вида текстов. И сами принципы, и их конкретные воплощения оказываются присущими всей народной культуре. Является ли подобная содержательная органичность сонника следствием универсальности самих принципов или же ее необходимо объяснять длительной адаптацией инородного, книжного по происхождению жанра к устной традиции, – эти вопросы с неизбежностью должны будут встать при обращении к проблеме генезиса жанра устного сонника в польском фольклоре – проблеме, которая в диссертации не ставится и которая требует специального исследования и особых методов. До сих пор для разработки генетического аспекта устного славянского сонника не было достаточной фактической и исследовательской базы. Только теперь, после обстоятельного труда С. Небежевской, показавшей современное состояние, структуру и семантику сонника, появляется возможность говорить о происхождении и истории жанра. Но все-таки несомненно, что устный сонник развивался под влиянием письменного, поэтому сравнение этих двух родственных жанров вполне оправдано. Однако следует более четко подчеркнуть, что проведенное автором сравнение имеет лишь типологическую ценность, так как анализируемые в диссертации письменные сонники принадлежат совершенно другой культуре (культурам) и пользуются другим языком культуры. Проблема соотношения устных и письменных текстов сонника имеет еще один аспект: устный сонник может иметь вторичную письменную фиксацию в виде записей в памятных тетрадях вместе с записями молитв и других сакральных текстов. Подобные "заветные" тетради, в которых молитвы нередко соседствовали с заговорами и рецептами черной и белой магии, мы не раз встречали в Полесье.

Что касается ареальной характеристики польского устного сонника, то несмотря на отрицательный, по оценке автора, результат, предложенный в диссертации опыт картографирования некоторых элементов сонника представляется очень ценным. Такого рода карты при условии полноты и равномерности данных по всей территории

способны показать очень многое: предпочтение тех или иных образов и толкований в отдельных регионах, географические границы структурных типов, распространение разного рода рассказов о снах и т.п. Поскольку сонник, безусловно, имеет длительную историю бытования в составе польского фольклора, он не мог не сформировать каких-то территориальных вариантов. К помещенным в диссертации картам можно высказать одно замечание. На наш взгляд, картографироваться должны не конкретные разновидности толкований в их непосредственной вербальной форме, а их обобщенные семантические и структурные типы. Например, на карте могут быть объединены и представлены одним знаком такие обозначения (толкования), как "śmierć", "zmarły", "nieboszczuk" и даже, возможно, "żałoba"; их нельзя считать разными толкованиями – это лишь разная верbalизация одного и того же содержания.

Диссертация завершается главой, посвященной рассказам о снах. Ею открывается совершенно новый аспект исследуемой темы, она ставит и вызывает новые вопросы. Главный из них – как соотносятся между собой рассказы о снах и сонник, следует ли их считать разными фольклорными жанрами или разновидностями одного жанра? К сожалению, автор не дает на этот вопрос четкого ответа. Строго говоря, минимальные тексты сонника становятся фольклорным жанром только тогда, когда они актуализируются в конкретной коммуникативной ситуации, т.е. становятся рассказами о сновидениях. С другой стороны, категория рассказов о снах шире категории текстов сонника, так как она может включать не только тексты-биноны ("образ" – толкование или: содержание сна – соответствующее событие действительности), характерные для сонника, но и тексты, состоящие из одного "образа". Что же касается текстов-бинонов, входящих и в сонник, и в рассказы о снах, то их отличает характер отношений между членами бинома (между явлением сна и явлением действительности). В самом деле, в рассказах о снах действительность предстает реальной, уже совершившейся, тогда как в соннике она лишь возможна, виртуальная. Различны также прагматические характеристики этих двух видов текстов, их интенции и коммуникативная структура (в рассказах о снах один "отправитель" текста, в соннике их может быть два и т.п.).

Несмотря на дискуссионность некоторых положений, впрочем, вполне естественную в пионерской работе, диссертация С. Небжеговской заслуживает самой высокой оценки. Она впервые предлагает обстоятельный, всесторонний и глубокий анализ весьма специфического фрагмента традиционной народной культуры, до сих пор остававшегося мало исследованным. Она вводит в научный оборот обширный новый материал и намечает перспективные пути его дальнейшего изучения.

Работа С. Небжеговской расширяет и уточняет наши представления о фольклоре, о фольклорном тексте и фольклорном жанре, о глубинных механизмах традиционной народной культуры, ее символическом языке и мифологических основах. Хотелось бы пожелать, чтобы эта содержательная работа, богатая идеями и тонкими наблюдениями, как можно скорее была издана в виде книги.

© 1997 г. Толстой Н.И.

Славяноведение, № 4

*Е.П. СЕРАПИОНОВА. Российская эмиграция в Чехословакской республике (20–30-е годы). М., 1995. 200 С.*

К числу тем, которые долгое время практически входили в "зону умолчания" советской историографии, относилась история послеоктябрьской российской эмиграции. Конечно, совершенно обойти эту проблему не всегда удавалось – масштабы оттока наших соотечественников за рубеж были для этого слишком велики, а место многих из них в отечественной истории и культуре слишком значительно. И все-таки работ было немного, а те, что имелись, как правило, страдали заведомой фактической неполнотой и крайней идеологической предвзятостью, следуя установившимся еще на заре советской власти канонам, в соответствии с которыми эмигранты трактовались как "жалкие изгои" либо "злые, непримиримые враги". Историки по преимуществу ограничивались изучением деятельности наиболее значительных и, чаще всего, наиболее враждебных советскому строю политических организаций в белоэмигрантской среде. А из культурного наследия первой волны российской эмиграции достаточно неплохо было изучено лишь творчество наиболее крупных фигур, которые никак нельзя было вычеркнуть из истории отечественной культуры (Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, И. Бунин, еще ряд имен). Только со снятием на рубеже 1980–1990-х годов имевшихся идеологических табу стал намечаться принципиальный сдвиг в изучении эмигрантской проблематики. За считанные годы был

проведен ряд научных конференций, вышли книги и статьи (из наиболее значительных см. [1]). Публиковалась мемуарная литература. Однако тему далеко нельзя считать исчерпанной. Современное состояние ее изучения требует не только создания первых обобщающих трудов, но и разработки частных сюжетов, дальнейшего накопления фактов. В этой связи вполне актуальной можно считать задачу выполнения монографических исследований о главных очагах российской эмиграции, таких, как Париж, Берлин, Харбин, Белград и некоторые другие. В центре же внимания рецензируемой интересной работы Е.П. Серапионовой – российская эмиграция в Чехословакии 1920–1930-х годов.

Как известно, Прага была одним из главных культурных центров российской эмиграции – так сложилось во многом благодаря "русской вспомогательной акции", ставшей "уникальным в современной истории примером сотрудничества между обычно столь нежеланными эмигрантами и правительством страны, их приютившей" [2]. Щедрость чехословацких властей и их заинтересованность в делах эмигрантов были поистине беспрецедентными. Хотя по численности российских беженцев Чехословакия отнюдь не занимала одного из первых мест среди европейских государств, к концу 1924 г. сумма расходов ее правительства на "русскую акцию" превысила совокупные расходы на эмигрантов из России всех европейских

государств. И это при том, что, как пишет Е.П. Серапионова, в те годы "правительство и общественность молодой Чехословацкой республики были заняты решением своих нелегких проблем по преодолению последствий мировой войны, внутренним обустройством, заботами о нуждах своего народа" (С. 57). По мнению автора, такая политика в отношении эмиграции хотя и руководствовалась, в первую очередь, гуманными соображениями, вместе с тем преследовала и некоторые далеко идущие цели. Дело в том, что «правительственная коалиция Чехословацкой республики в своей внешнеполитической доктрине учитывала возможность будущих изменений в России и ориентировалась на сотрудничество с "новой Россией", Россией без большевиков» (С. 22–23). А для того, чтобы облегчить такое сотрудничество, надо было сформировать своих будущих партнеров, т.е. создать в стране условия для подготовки квалифицированных кадров российской интеллигенции: юристов (особенно необходимых в правовом государстве), экономистов, педагогов, врачей. Надо сказать, что и большинство российских студентов, обучаясь на деньги чехословацкого правительства, "с самого начала не рассчитывали, что приобретенные ими знания найдут применение за границей, надеясь в скором времени вернуться на родину" (С. 31).

Установка чехословацких властей на подготовку будущей российской политической элиты требовала от них дифференцированного отношения к эмигрантам. Правительство проводило отбор среди беженцев, предпочитая сосредоточить у себя лишь некоторые их категории, в первую очередь представителей интеллигенции и студенчества. Оно не просто "фильтровало" поток эмигрантов, но и активно способствовало переселению этих групп в ЧСР (С. 26). Первый президент Чехословацкой республики Т.Г. Масарик и его ближайший сподвижник Э. Бенеш всячески подчеркивали гуманитарный, неполитический характер "русской акции", решительно заявляли о своем нежелании вмешиваться в российские межпартийные распри. Вместе с тем при установлении контактов чехословацких властей с эмиграцией предпочтение отдавалось людям либеральных и умеренно социалистических убеждений. Именно в них, а не в правых, консервативно-монархических силах виделись наиболее приемлемые партнеры для сотрудничества.

Принципиальная установка правительства на помощь эмигрантам не означала, конечно, единодушного отношения чехословацкой общественности к необходимости столь щедрых вливаний. В политических кругах страны у "русской акции" были как сторонники, так и противники. И по мере углубления на рубеже 20–30-х годов экономического кризиса число противников, естественно, росло. Со временем размеры государственных дотаций на эмигрантские нужды неуклонно сокращались, причем на свертывание программы помочи влияли не только экономические трудности, переживаемые страной, но и давление чехословацких левых сил, требовавших прекращения поддержки "контрреволюционеров". Были и другие причины. С течением времени инициаторы "русской акции" все больше осознавали, что большевики "засели всерьез и надолго" и идеи приведения к власти в России сформированной в Чехословакии новой политической элиты иллюзорны и утопичны. Кроме того, "особая позиция" правительства ЧСР в отношении эмигрантов с самого начала сильно отягощала советско-чехословацкие отношения, препятствовала их нормализации. Ведь согласно мнению советской стороны, выраженному в телеграмме наркома иностранных дел Г.В. Чicherина полпреду в Чехословакии В.А. Антонову-Овсеенко от 20 октября 1924 г., Масарик и Бенеш "кормили и обучали государственных преступников, содержали притон таковых" (С. 68). Между тем Масарик и Бенеш и в 20-е годы не хотели лишать себя возможности урегулировать отношения с СССР. А после прихода нацистов к власти в Германии и клиро-фашистов в Австрии, правительственные круги Чехословакии, всерьез обеспокоенные перспективой утраты страной независимости, сделали решительный шаг к сближению с СССР. К этому времени "русская акция" была уже фактически свернута, и щекотливый эмигрантский вопрос перестал являться препятствием для нормализации двусторонних отношений, в условиях того времени объективно отвечавшим государственным интересам Чехословакии. С прекращением "русской акции" Чехословакия перестает быть местом паломничества российских беженцев, напротив, часть эмиграции покинула ее, устроившись в другие страны.

Исследователям российского зарубежья приходилось при чтении источников обра-

щать внимание на несколько высокомерное, пренебрежительное отношение к пражской эмиграции, в частности со стороны "российских парижан". "Что касается здешних русских, то – случалось ли Вам ездить по России в спальном вагоне 3-го класса? Так вот, представьте, что все пассажиры оного (бухгалтеры, земские статистики, учителя, чиновники контрольной палаты, землемеры) – вылезли на станции "Прага" и закусывают в буфете. Колбаса, сыр, чай ("свой кипяток") – просаленная бумага", – так поэт В.Ф. Ходасевич с присущим ему снобизмом резюмировал в переписке свои пражские впечатления [3. С. 181–182]. А вот как он комментировал решение писателя Б.К. Зайцева переехать с семьей в Чехословакию: "...Зайцевы переезжают в Прагу. Правда ли это? Меня это очень тревожит, ибо переезд в сию европейскую столицу означал бы, что они переживают крайний, предельный денежный кризис. А я хочу им добра" [3. С. 181]. Здесь показательно то, что так и не привыкший к геополитическим новшествам послеверсальской Европы Ходасевич не мог-таки не отметить благотворительных акций молодого Чехословацкого государства в отношении российских эмигрантов. Издававшаяся в Праге русская газета не без гордости и совсем не без оснований заявляла, что учащиеся российские эмигранты Парижа завидуют своим коллегам в Чехословакии (С. 70).

О некоторой патриархальности, старомодности, провинциальности жизненного уклада "русских пражан" писала и Н.Н. Берберова в мемуарах "Курсив мой" [4]. Визитеры, совершившие кратковременные наезды из Парижа, не всегда могли заметить и по достоинству оценить, сколь насыщенной была интеллектуальная жизнь в среде российской эмиграции в Чехословакии. Лишь сейчас мыываем должное многогранной деятельности наших соотечественников.

В некоторых случаях широкая мировая известность на несколько десятилетий опередила признание у себя дома. Так произошло, например, с Пражским лингвистическим кружком, в деятельности которого наряду с чешскими учеными Я. Мукаржовским, В. Матезиусом, Б. Гавранеком и другими принимали активное участие русские филологи Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой, П.Г. Богатырев. Пражский кружок, продолжавший традиции "формальной школы" в русском литературоведении, внес принципиальный вклад

в развитие фонологии, поэтики, семиотики, предвосхитил многие положения структурализма 60–70-х годов.

С Прагой была связана послереволюционная деятельность академика Н.П. Кондакова – созданный им здесь институт стал одним из центров мировой византинистики. В этом городе работали также видные историки А.А. Кизеветтер, А.В. Флоровский, философы Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский и др. Можно вспомнить и выдающегося юмориста А. Аверченко, похороненного на Ольшанском кладбище, и М. Цветаеву, пражский период в творчестве которой стал едва ли не самым плодотворным.

В работе Е.П. Серапионовой, опирающейся на богатый материал из чехословацких и российских архивов,дается общая характеристика российской эмиграции в Чехословацкой республике, приводятся статистические данные о ее составе, рассматривается ее материальное положение, правовой статус беженцев из России, характеризуются основные политические направления, идеиные течения, общественные организации в среде российских эмигрантов.

Отдельная большая глава посвящена пражскому Земгору (Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике). По замыслу своих учредителей, эта организация не ставила перед собой никаких политических задач и по возможности дистанцировалась от острых идеиных споров в эмигрантской среде, включавшей самый широкий спектр течений – от меньшевиков и эсеров на левом фланге до черносотенцев на правом (говоря о том, насколько непримиримые противоречия раздирали российскую эмиграцию, достаточно вспомнить, что пуля, предназначавшаяся для П.Н. Милюкова, убила видного кадета В.Д. Набокова, отца известного писателя). Свою задачу Земгор видел совсем в другом: обратить внимание мировой общественности на положение эмигрантов, изыскать средства для того, чтобы "сколько-нибудь сносно устроив их в настоящем", "сохранить их для будущей России" (С. 58). Большой материал, приведенный автором, показывает, что даже в такой относительно благополучной стране, как Чехословакия при Масарике, российские беженцы в большинстве своем жили отнюдь не политикой, а своими повседневными нуждами, борясь за выживание.

Каждого, кто обращается к изучению отечественной эмиграции, подстерегают

два соблазна – идеализация российского зарубежья и противопоставление созданного "там"циальному "здесь". Эти две опасности тем более велики, что исследователям нередко приходится иметь дело с личностями поистине неординарными. Думается, что автор благополучно избежал обоих соблазнов. Хотя, быть может, не всегда. Несколько категоричным кажется, в частности, суждение о том, что "именно эмигранты, с одной стороны, были продолжателями общественных, научных, культурных, образовательных национальных традиций, а с другой – связывали Россию со всем цивилизованным миром" (С. 6). Каждый, кто занимался культурой межвоенной Чехословакии, знает, какой неподдельный интерес как творческой интеллигенции, так и более широкой публики в этой стране вызывали фильмы С. Эйзенштейна, театральные искания В. Мейерхольда, поэзия В. Маяковского, авангардистские течения в живописи, т.е. такие явления советской культуры 20-х годов, которые отличались коммунистической тенденциозностью и в то же время явно не укладывались в прокрустово ложе норм социалистического реализма, сформулированных уже позже, начиная с середины 30-х годов. Настоящими событиями в культурной жизни Чехословакии стали гастроли московского Камерного театра А. Таирова, выставка новейших достижений советских архитекторов-конструктивистов. Можно с определенностью сказать, что выступления приезжавших из Парижа М. Кшесинской и Т. Карсавиной, выставки картин Л. Бакста, А. Бенуа и М. Добужинского вызвали меньший общественный резонанс. И тем более блекли на этом фоне спектакли полупрофессиональных трупп, родившихся в эмигрантской среде самой Чехословакии. Чешский и словацкий зрителю судил об уровне современной русской культуры отнюдь не по nim.

Определение XX в. как "века экстрем" (выражение Э. Хобсбаума) очень верно применительно к межвоенной Чехословакии, где чрезвычайно сильны были левые, социалистические тенденции в культуре, а многие видные художники (прежде всего представители авангардных течений, но не только они) тяготели к коммунистическому движению. Достаточно называть такие имена, как крупнейший чешский поэт XX в. В. Незвал, прозаик В. Ванчура, поэт Ф. Галас, театральные режиссеры Й. Гонзл и Э.Ф. Буриан, ученый-

филолог Я. Мукаржовский. Этого факта не опровергает и то обстоятельство, что московские процессы 1937–1938 гг. вызвали в Чехословакии, как и в других странах, осуждение части левых и привели к расколу в их рядах.

Кстати, и в среде самой эмиграции находились люди, которые, пусть и не симпатизируя большевизму, сумели по достоинству оценить то, что в нелегких условиях делали их соотечественники на родине. Видный филолог А.Л. Бем отмечал в переписке конца 30-х годов: "Я частенько завидую своим товарищам по годам учения, которые успели сделать за эти годы больше моего, оставаясь на месте". Одна из чешских эмигрантских газет так оценила эту проблему: «Нет двух русских культур – здесь и там, а есть единая русская культура, созданная и создаваемая русскими людьми, где бы они ни находились. Русская культура для нас не только предмет юбилейных воспоминаний и традиций: она есть прежде всего живая творимая реальность. Наш долг – поскольку мы считаем себя людьми русской культуры – эту реальность изучать, за ней следить и с нею, пользуясь обстановкой полной возможности для культурной работы, творить, чтобы не обратиться в "живой архив русской эмиграции"» (С. 167).

Отчасти можно согласиться с утверждением автора о том, что «резкая критика эмигрантами большевистского строя в 20–30-е годы способствовала негативному восприятию общественным мнением Запада "советского опыта"» (С. 53). Но нельзя не отметить, что на всем, что делали российские эмигранты, лежал некоторый отпечаток политического банкротства в своей стране. Проявляя к беженцам снискожительно-жалостливое отношение, либеральные круги Запада не принимали их как равноправных партнеров и не были склонны переоценивать их культурный потенциал. Что не отрицает, конечно, реального (иногда скромного, иногда – как в некоторых славянских странах – довольно весомого) вклада эмигрантов в культуру государств, их приютивших. Так, без русских мастеров нельзя представить себе становление чешского балета, великих заслуги и в развитии чешского кино.

В годы второй мировой войны подавляющее большинство эмигрантов заняло, как известно, патриотическую позицию. Это не уберегло, однако, многих из них от преследований советских спецслужб после

вступления в Чехословакию Красной Армии. Жертвой ГУЛАГа стал, например, упомянутый нами А.Л. Бем. В то же время историк А.В. Флоровский вплоть до кончины в 1968 г. оставался профессором медиевистики в Карловом университете. Но даже те из русских ученых, кто адаптировался к реалиям социалистической Чехословакии, вызывали к себе настороженное отношение официальной Москвы. Когда в 1953 г. из Праги поступило приглашение советским историкам участвовать в международном журнале "Vizantinoslavika", основанном при активной поддержке Н.П. Кондакова, высшие инстанции сочли такое участие нецелесообразным. Характерна мотивировка: "В этом журнале работали русские историки-византисты из весьма реакционно настроенных кругов русских белоэмигрантов"; "серезную перестройку журнала и переход его на новые, марксистские

позиции уже завершенным считать преждевременно" [5]. Должно было пройти еще четыре десятилетия, пока на родине отдали долг памяти тем, кто, оказавшись на чужбине, продолжал приумножать национальное культурное достояние.

© 1997 г. Стыкалин А.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Культурное наследие российской эмиграции. 1917–1940. М., 1994. Т. 1–2; Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939. М., 1994.
2. Славяноведение. 1993. № 4. С. 38.
3. Знамя. 1991.
4. Вопросы литературы. 1988. № 10. Ч. 3.
5. Центр хранения современной документации. Ф. 5. Оп. 17. Д. 426. Л. 2.

\* \* \*

Подготовленная Е.П. Серапионовой книга по-существу является первой в отечественной исторической науке попыткой обзорно-системной характеристики многообразной жизни и деятельности российской послереволюционной эмиграции в Чехословакии. Она выгодно отличается от других публикаций на эту тему тем, что, помимо многочисленных разнообразных источников в ее основу положены материалы переместившегося в 1945 г. из Праги в Москву Русского заграничного исторического архива. Долгие годы они не были доступны для изучения и лишь теперь вводятся автором в научный обиход.

Работа состоит из Введения, Заключения и трех глав: "Изгнанники", "Пражский Земгор" и "ОРЭО и другие структуры". Приложения. Во Введении автором указаны использованные в монографии архивные и печатные источники. Их перечень достаточно внушителен, но все же мог бы быть пополнен некоторыми изданиями, в частности, например, такими, как: Струве Г. Русская литература в изгнании. Опыт историографического обзора зарубежной литературы (Нью-Йорк, 1956, 1984) или же Фостер Л. Библиография русской зарубежной литературы (Бостон, 1970) и др.

Первая глава посвящена истории оседания русских беженцев в Чехословакии, их

составу и материальному положению. Подробно и документировано освещены в ней различные стороны жизни русской колонии (быт, трудоустройство, правовые вопросы, политическая ориентация отдельных групп эмигрантов и т.д.). О прибытии русских эмигрантов в ЧСР в книге сказано, что они "в большом количестве появляются в 1920–1921 гг." (С. 19). Думается, что такой информации все же недостаточно, надо было бы отметить, что уже с 1919 г. в Чехословакии находилось около 8 тыс. русских (военнопленных и первых беженцев), часть которых позже натурализовалась (см.: Slovanský pfehled. 1993. N 1. S. 2). Что же касается остальных эмигрантов, то они прибывали в страну двумя волнами: в 1920 г. из Сибири и Дальнего Востока и в 1921 – начале 1922 г. из Константинополя, Галлиполи и с Лемноса. Кроме того, вплоть до 1928 г. приезжали беженцы и из других мест.

Общее число эмигрантов в Чехословакии ежегодно менялось. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Видимо, поэтому в литературе и существуют большие расхождения в цифрах. Если, например, в книге "Дети эмиграции" (Прага, 1925. С. 247) применительно к 1924 г. говорится о 30 тыс. русских эмигрантов, то в журнале "Slovanský pfehled" (1993. № 1. S. 4) – лишь о 20 тыс., что представляется явным пре-

уменьшением. Приводимые в книге Е.П. Серапионовой (С. 18, 19) данные Ф. Нансена – 30 тыс. человек в 1926 г., 24 тыс. – в 1928 г., и только 13 600 в 1929 г. так же вряд ли точны. Особенно сомнительна последняя цифра. Трудно себе представить, что всего лишь за один год Чехословакию покинула почти половина живших там русских. Такой отток, кстати, никак не согласуется с другой приводимой в монографии цифрой – 7 600 человек, покинувших ЧСР "в конце 20-х годов" (С. 21). Конечно, во второй половине 1920-х годов численность русской колонии в ЧСР начала уменьшаться, но, очевидно, не так обвально. В других странах, где положение эмигрантов было не лучше, подобного не происходило. А в начале 20-х годов и вплоть до их середины число эмигрантов в ЧСР в отдельные годы, по всей видимости, превышало 30 тыс. человек. Вопрос этот требует, как представляется, дальнейшего изучения и прояснения.

В главе "Изгнанники" всесторонне рассматривается вопрос о так называемой вспомогательной "Русской акции". При этом, со ссылкой на разные источники, автор приводит сведения о расходах властей ЧСР на русских эмигрантов (С. 22). Они существенно расходятся с данными Архива Министерства заграничных дел (см.: Славяноведение. 1993. № 4. С. 36). Там сумма правительственной помощи в 1924 г. исчислена в 99 775 427 чешских крон, а в книге – 83 000 000 крон. Это различие, видимо, стоило бы прокомментировать. Кстати, замечание о том, что "начиная с 1924 г. ассигнования чехословацкого правительства на "Русскую акцию" стали сокращаться (С. 110), не совсем точно. Это относится к 1925 г., а в 1924 г. сумма помощи русским была самой высокой. Другие разделы первой главы посвящены развернутому ознакомлению с отдельными сторонами жизни эмигрантов. Столь тщательно это делается во многом впервые.

Освещение многообразной деятельности одной из главных эмигрантских организаций в ЧСР – Земгора (1921–1935) составляет содержание второй главы. Изучение документов Русского заграничного исторического архива позволило автору сделать это значительно полнее, чем было возможно до сих пор. В главе говорится о разветвленной сети учреждений Земгора, об оказывавшейся ими материальной, медицинской и юридической и иной помощи эмигрантам, о трудоустройстве беженцев, о проведении среди них культурно-просветительской

работы. Сведения о последней особенно интересны. Жаль только, что при характеристике русской театральной жизни в Праге не упомянуто о пребывании там группы мхатовцев, возглавлявшейся В.И. Качаловым и О.П. Книппер-Чеховой.

Весьма важным и ценным вкладом Е.П. Серапионовой в освещение истории российских изгнанников является третья глава. В ней едва ли не впервые на основе архивных материалов сообщается об организации и многообразной деятельности в ЧСР Объединения русских эмигрантских организаций – ОРЭО (1927–1945), которое пережило Земгор. К сожалению, взаимоотношения ОРЭО с Земгором и его учреждениями в годы их одновременного существования в главе не получили своего освещения. В связи с этим не совсем понятно, почему в главе рассматривается деятельность эмигрантских учреждений и организаций, сложившихся и функционировавших задолго до возникновения ОРЭО, причем не в их взаимодействии с ним, а порой как бы автономно (это относится, в частности, к описанию истории гимназии в Моравской Тршебове, Педагогического института и др.). Надо заметить, что степень четкости и детального освещения деятельности отдельных эмигрантских организаций, входивших в ОРЭО и курировавшихся им, не одинакова. Если различным академическим организациям дана подробная характеристика, то входившие в ОРЭО многочисленные военные союзы только названы, чем они занимались, понять трудно. Впрочем, может быть, это связано с отсутствием достаточной документальной информации.

В Заключении автор обоснованно корректирует годами искажавшийся "образ" эмиграции, часть которой, как это показано в книге, не жаждала политического реванша и вообще не занималась политической деятельностью. Русским людям надо было жить и выжить в изгнании и они выживали, храня в себе любовь к Родине. Постоянно думая о ней, они творили и работали для нее. В годы второй мировой войны подавляющее большинство эмиграции было на стороне своих боровшихся с гитлеровскими войсками соотечественников.

В конце книги говорится, что после освобождения Чехословакии проживавшие там "гражданские лица" (имеются в виду русские эмигранты) "были арестованы и депортированы" (С. 169). Это не совсем так. Подобная судьба постигла лишь часть

эмигрантов, но далеко не всех. Ряд из них выехали из ЧСР во второй половине 40-х годов на Запад, многие (несколько эшелонов) добровольно вернулись на Родину (среди последних были В.Ф. Булгаков, бывший секретарь Л.Н. Толстого, члены семьи писателя Е.Н. Чирикова, упомянутого в книге ученого-ботаника Н.Ю. Вагнера), кто-то получил советские паспорта и остался в Чехословакии, а некоторые стали ее гражданами. Немало русских и их потомков живут в Чехии и Словакии и по сей день.

К основному тексту книги придан состоящий из 142 позиций "Список российских эмигрантских организаций и движений в ЧСР". Это весьма ценное приложение. Оно наглядно показывает, насколько активной и напряженной была общественная и культурная жизнь изгнанников, стремившихся всеми силами сберечь духовную связь с Родиной. Кроме того, издание сопровождено указателем имен и иллюстрациями.

Несколько частных замечаний. На стр. 9 должно быть не "А.А. Тескова", а "А.А. Тесковой", на стр. 154 – не "В. Григорьев", а "Б. Григорьев" (кстати, считать его лишь пейзажистом вряд ли правомерно). В ряде случаев в книге без перевода встречаются чешские слова ("пруказ", "ржад" и др.).

Книга невелика по объему, в ней всего десять листов. Потому о чём-то в ней сказано больше, о чём-то меньше, а что-то и осталось за рамками изложения. Так, имена одних эмигрантов сопровождены некоторыми сведениями о них, другие представлены только мало что говорящими фамилиями. Таковы, например, С.В. Завадский, Е.Е. Лазарев, Е.Д. Кускова и ряд других когда-то известных лиц, о которых есть что сказать современному читателю. Совсем не названы в книге такие активные участники общественной и культурной жизни эмигрантов, как юрист и литератор В.Н. Челищев, поэты Д.М. Ратгауз, П.П. Потемкин и др. Лишь упомянут в книге очень любимый эмигрантами и широко ими отмечавшийся праздник "День русской культуры", приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина. О торжествах по случаю юбилейных дат поэта и посвященных ему выставках, в которых активно участвовали эмигранты,

к сожалению, нет ничего. При чтении книги остается не очень понятно, на каких условиях входили в ОРЭО такие организации, как ОРЭСО – Объединение русских эмигрантских студенческих организаций, а также Педагогическое бюро, занимавшиеся студенческими и школьными делами всей разбросанной по разным странам русской диаспоры. Некоторые замечания нисколько не умаляют положительного значения книги в целом, явившей собою существенный шаг вперед в изучении исторической судьбы российских эмигрантов в Чехословакии. Она, вне сомнения, привлечет к себе внимание многих, прежде всего тех, кого интересует история русских изгнанников, кто занят ее изучением.

Книга о русских эмигрантах в ЧСР заканчивается словами о том, что рассказ о них, о их жизни и деятельности – "своеобразный долг российских историков перед этими людьми" (С. 192). С этим нельзя не согласиться, уточнив, однако, что это долг не только исторический, но и нравственный. Ведь составители и авторы книги "Русские в Праге" (Прага, 1929), на которую не раз ссылается Е.П. Серапионова, видели свой долг в том, чтобы будущие поколения узнали, как оказавшиеся вдали от своей страны русские люди "нашли в себе достаточно духа и энергии, чтобы работать во всех областях общечеловеческой культуры". К будущему обращены и слова, содержащиеся в одном из ценнейших эмигрантских изданий – "Русская зарубежная книга" (Прага, 1924). В открывющей его статье "Комитет Русской книги" говорится: "Если то, что удалось сделать до сих пор, поможет установлению правильного взгляда на русскую эмиграцию как совокупность людей, сохранивших при безмерно трудных условиях, способность к духовному творчеству, к созиданию культурных ценностей, Комитет будет считать себя вполне удовлетворенным" (С. 17). Появление книги о русских эмигрантах в Чехословакии – отрадное свидетельство того, что далекие голоса давно умерших изгнанников, услышаны на их Родине.

© 1997 г. Кишин Л.С.

*Im Dissens zur Macht. Samizdat und Exilliteratur der Länder Ostmittel- Südosteuropas / Herausgegeben von L. Richter, H. Olschowsky. Berlin, 1995. 285 S.*

*Через инакомыслие к власти. Самиздат и эмигрантская литература стран Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. Л. Рихтер, Г. Ольшовский*

В силу специфики послевоенной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы важная роль в их литературах принадлежит самиздату и эмиграции, в рамках которых находило свободный выход критическое отношение писателей к авторитарным социалистическим режимам. Крутые общественно-политические перемены и жесткое подавление инакомыслия в бывших социалистических странах вызвали после второй мировой войны несколько волн эмиграции, в каждой из которых были писатели, в том числе высокого национального ранга. С одной стороны, на Западе возникла целая сеть эмигрантских журналов, образовались издательства, национальные союзы писателей-эмигрантов из Польши, Венгрии и других стран социалистического блока. С другой стороны, с течением времени внутри самих этих стран, прежде всего в Польше и Чехословакии, сложился "второй круг" нелегальной литературной коммуникации со своими журналами и издательствами, со своей сетью распространителей. В самиздате и эмигрантских издательствах печатались многие выдающиеся писатели, получившие международное признание, между тем как официальная литературная критика большинства социалистических стран до самого конца 80-х годов пыталась замалчивать существование альтернативной литературы или же высказывалась о ней в сугубо негативном духе.

Эпоха переворотов и "нежных революций" в регионе на рубеже 80–90-х годов в корне изменила ситуацию. Литература эмиграции и "второго круга" стала легально выходить в самых престижных издательствах, превратилась в объект повышенного интереса критики и литературоведов. Но при этом серьезное научное осмысление альтернативной лите-

ратуры Восточной Европы еще только начинает развертываться. Тем ценнее выход в свет в Берлине первого коллектического труда по литературе самиздата и эмиграции всего региона Восточной Европы, созданного известными немецкими специалистами в области славистики, унгарики и румынистики при участии литературоведов из Польши, Словакии и Великобритании.

Как замечают во введении руководители авторского коллектива Л. Рихтер и Г. Ольшовский, "данний труд на тему литературной эмиграции и самиздата возник в парадоксальной ситуации – в тот самый момент, когда предмет исследования перестает существовать" (S. 7). Но именно теперь создались условия для углубленного научного изучения этой проблематики, к чему авторы были подготовлены своими предшествующими многолетними занятиями новейшей историей восточноевропейских литератур.

Рецензируемый труд не преследовал цели библиографического описания литературы самиздата и эмиграции. Авторы стремились определить специфику и роль этой литературы в контексте соответствующей национальной культуры, оценить ее вклад в них, дать анализ ее отдельных наиболее выдающихся достижений. Книга состоит из статей, посвященных общему обзору той или иной национальной эмиграции или самиздата и монографических портретов крупнейших представителей альтернативной литературы – Ч. Милоша, В. Гавела, Д. Конрада, Г. Маркова.

Открывает книгу уже упомянутое введение Л. Рихтера и Г. Ольшовского, в котором намечены некоторые общие теоретические и методологические позиции авторского коллектива. Писатель-эмигрант рассматривался ими как член

национального языкового коллектива и единой литературы на этом языке, но, в отличие от писателей внутри страны, обладающий возможностью смотреть на национальную действительность как бы со стороны и разрабатывать темы, запретные для писателей на родине. В первую очередь речь идет о разоблачении тоталитарной сущности политических режимов бывших социалистических стран, диктата Советского Союза, репрессий, советского ГУЛАГа, теме Катыни, подавления "Пражской весны" и т.п. "Авторы-эмигранты имели возможность раскрывать запрещенные в стране темы и тем самым уберегли коллективную память от потери и насилиственной селекции" (S. 13). Высокая политизированность альтернативной литературы предопределила ее тяготение к документалистике, большое место в ней эссеистики и мемуарного жанра. Как подчеркнуто во введении, произведения самиздата и эмигрантской литературы имели "особый моральный авторитет неподцензурного слова" (S. 13), но его нельзя считать гарантией художественного качества: необходим объективный анализ каждого конкретного произведения.

При наличии принципиальных общих черт положение в странах региона было различным, что отражалось на характере, формах существования и периодизации альтернативной литературы. Это хорошо показано в книге. Если для польской литературной эмиграции (ей посвящены статьи Д. Шольце, М. Стемпеня и Г. Ольшовского) самым плодотворным был период 1956–1968 гг., то для чешской эмигрантской и самиздатской литературы (статьи Я. Чулика и М. Енихена) таким периодом стало двадцатилетие после 1968 г. Словацкая литературная эмиграция (статьи Л. Рихтера и П. Заяца) не была столь значительной, как чешская, но альтернативную литературу в стране представлял такой крупный писатель, как Д. Татарка (статья У. Раслофф). Об особенностях венгерской литературной ситуации в эмиграции и внутри страны и о творчестве крупнейшего венгерского писателя-диссидента Д. Конрада пишет Ю. Брандт. Румынской литературе посвящены статьи А. Пфайфер и Э. Беринг, в которых подчеркивается первостепенное значение споров о национальных традициях, в ходе которых идеология времен "позднего Чаушеску" смыкались с эмигрантами-националистами. На примере Болгарии и творчества Г. Маркова (статья Б. Байер) раскрывается роль автоцензуры, издательских

редакторов и прочих рычагов недопущения в печать инакомыслия и при отсутствии официальных органов цензуры. В статье о литературе Югославии (А. Рихтер) показано, что дисидентские взгляды здесь, пусть и не без труда, могли быть выражены в легально изданных произведениях.

Интересные наблюдения и оценки, в том числе теоретического характера, содержатся в статьях, посвященных отдельным авторам. Так, Г. Ольшовский, анализируя эссеистское творчество Ч. Милоша, приходит к выводу, что "опыт жизни в чужом языковом окружении он сумел превратить в ключ, который помог ему открыть новые нюансы родного языка" (S. 68). М. Енихен в статье о В. Гавеле подчеркивает его "моральный ригоризм", следование принципу "живь по правде" (S. 90), заставляя читателя вспомнить солженицынское "живь не по лжи". Ю. Брандт раскрывает взгляды Д. Конрада, согласно которым этикой гражданского общества должна стать "антиполитика" (S. 200). Любопытны размышления Д. Шольце о творчестве В. Гомбровича и С. Мрожека, Я. Чулика о М. Кундере и Й. Шкворецком, Л. Рихтера о влиянии словацкой католической модерны на таких признанных "социалистических" поэтов, как М. Валек и В. Мигалик.

Авторы труда постоянно касаются политических аспектов литературы и ее взаимоотношений с противоречивой, воспринимаемой ныне почти исключительно в негативном ключе действительностью тех лет, но они свободны от идеологической предвзятости. В книге показано, что, с одной стороны, наиболее значительные писатели-эмigrанты были последовательными гуманистами: отвергая тоталитарные режимы бывших социалистических стран, они в то же время весьма критически относились к буржуазным идеалам потребительского общества и нравам эмиграции, подчас вызывая в ее среде большое неудовольствие. С другой стороны, четко проведена мысль, что отнюдь "не все, официально опубликованное в странах, официозно" (S. 8). Имея в виду поступат единой национальной литературы, авторы отмечают сложность реинтеграции эмигрантской литературы в литературу страны, ясно понимая, что "публикация на родине еще не означает интеграцию" (S. 222).

Можно высказать сожаление, что литература самиздата рассмотрена авторами тома в меньшей степени, чем эмигрант-

ская. Это особенно относится к польской и чешской литературе, где самиздат дал ценные произведения. Так, в книге упоминается Л. Вацулик как издатель серии "Петлице", но вне поля зрения исследователей остался его роман "Чешский сонник" – самое значительное произведение чешской самиздатской прозы. Можно назвать и другие "пропуски", хотя, конечно, рецензируемый труд и не претендовал на исчерпывающий охват имен и

равномерное освещение всех литературных жанров.

Выход в свет исследования "Через инакомыслие к власти" – не только событие в литературоведении, но и важный шаг в осмыслении альтернативных ветвей новейшей восточноевропейской литературы, а в какой-то мере и истории этих стран.

© 1997 г. Шерлаимова С.



# НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Славяноведение, № 4

## Конференция "Славянская лексикография: словарь и культура" (К столетию с начала публикации "Словаря болгарского языка" Н. Герова)

21–23 ноября 1995 г. в Москве была проведена международная научная конференция "Славянская лексикография: словарь и культура". Организаторы конференции приурочили ее к столетию выхода в свет первого тома выдающегося лексикографического труда, имевшего огромное значение и для развития славянской лексикографии, и для формирования национальной болгарской культуры – "Словаря болгарского языка" Найдена Герова. Конференция получила поддержку Российского гуманитарного научного фонда. Предполагалось широкое участие в работе конференции болгарской стороны: оргкомитет получил одиннадцать заявок от болгарских лексикографов (Е. Пернишка, Ю. Балтова, В. Кювлиева-Мишайкова и др.), что, несомненно, свидетельствовало о большом интересе к этой конференции в Болгарии. К сожалению, на конференцию смогли прибыть только три делегата из Болгарии, занимавшиеся преподавательской деятельностью в России и на Украине, – Мая Божилова, Зоя Барболова и Добриня Райнова. Не смогли приехать также В. Бланар из Братиславы, П.Е. Гриценко из Киева, В.М. Мокиенко из С.-Петербурга, А.Т. Хроленко из Курска. Все материалы, присланные в адрес оргкомитета, (в основном, тезисы докладов), были опубликованы в сборнике материалов конференции («Словарь и культура. К столетию с начала публикации "Словаря болгарского языка" Н. Герова. Материалы международной научной конференции (Москва, ноябрь 1995 г.)». М., 1995), который был издан до начала конференции. Тезисы докладов С.М. Толстой и И.А. Седаковой, лично не присутствовавших на заседаниях, также опубликованы в указанном сборнике.

В работе конференции приняли участие сотрудники Посольства Республики Болгарии первый секретарь Рашко Гроздков, первый секретарь (пресс-атташе) Соня Л. Бурнаска, директор Болгарского культурно-информационного центра Огнян Сурдов. В

ходе работы конференции было проведено пять заседаний, на которых было заслушано и обсуждено 23 доклада. Выступления группировались в четыре тематических цикла: "Развитие славянской лексикографии: историко-культурные аспекты", "Диалог культур в словарях разных типов", "Специализированный словарь культуры: поиски жанра", "О новых лексикографических проектах".

Пожалуй, наибольшее внимание участники конференции уделили историко-культурным аспектам развития славянской лексикографии и месту в этом процессе Словаря Н. Герова. Доклад Г.К. Венедиктова, открывший первое заседание, был посвящен жизни и деятельности Найдена Герова – выдающегося деятеля эпохи Возрождения Болгарии, а также характеристике его знаменитого Словаря. Докладчик подчеркнул, что в эпоху тяжелейшего турецкого общественно-политического и греческого духовного господства словарь для болгар становился не только просто собранием слов, но и словарной сокровищницей народной речи, отражающей духовную и материальную культуру народа, и составление его расценивалось как настоящая национально-культурная патриотическая задача. В докладе А.А. Плотниковой Словарь Н. Герова был рассмотрен в ряду других славянских словарей общенационального масштаба, создание которых было характерно для периода становления (возрождения) славянских литературных языков. Собрание

национально-самобытной лексики в них тесно связано с фольклорно-этнографической базой и открывает широкие возможности для включения в словарь фольклорных текстов, описаний материальной и духовной культуры. Такие словари продолжали пользоваться авторитетом и в более позднюю эпоху развития языка и культуры народа. О "геровских традициях" как определяющих тенденциях современной болгарской лексикографии говорила в своем докладе М. Божилова. Такие черты, как максимализм в целях, высокий научный и нравственный потенциал личности лексикографа, осознание исключительности культурно-исторической миссии создаваемого словаря, научная добросовестность, объективность и тщательность в интерпретировании языковых фактов, творческое сочетание различных жанровых форм, характерные для словарной работы Н. Герова, свойственны, по мнению выступавшей, и болгарским лексикографическим предприятиям XX в.

Серия докладов была посвящена определению места и роли в истории славянской лексикографии отдельных словарей. О фундаментальном лексикографическом труде эпохи словацкого национального возрождения, шеститомном Словаре А. Бернолака рассказал Л.Н. Смирнов. В этом словаре впервые в истории словацкой лексикографии был реализован нормативный подход к описанию лексики. В качестве литературной лексики доминировали слова, характерные для письменной и разговорной формы так называемого "западнословацкого культурного интердиалекта", но наряду с этим нашла свое отражение общесловацкая диалектная лексика. Употреблявшиеся А. Бернолаком стилистические квалификиаторы помогали выделить нормативное ядро формирующегося словарного состава литературного словацкого языка. Доклад В.В. Усачевой был посвящен оставшемуся незавершенным и лишь частично изданному ценному лексикографическому труду Ф. Головацкого "Материалы для словаря Малорусского наречия, собранные в Галиции и Северовосточной Венгрии". Труд Головацкого является одним из первых диалектных словарей, который в значительной мере отражает не только лексико-семантическую систему юго-западных говоров украинского языка, но и фразеологию, акцентную систему, своеобразие морфологии и словообразования. Словарь имеет этнолингвистическую направленность, так как дает надежный материал

для исследований духовной культуры населения карпатского региона. Изданный в 1910 г. Словарь Р. Кошутича, по мнению рассказавшего о нем В.П. Гудкова, является и в наше время перспективным источником обогащения опыта и совершенствования практики словарного дела. Созданный в качестве учебного пособия с установкой на активное овладение учащимися устно-разговорной формы русского литературного языка, а также навыками корректного перевода с русского на сербский, он отвечает двум главным тенденциям мировой лексикографии, на которые в свое время указал Ю.Д. Апресян, – постепенному преобразованию пассивных (часто толковых) словарей в словари активного типа и переходу от чисто филологического описания слова кциальному филологическому и культурному описанию слова-вещи, с привлечением элементов энциклопедического и этнолингвистического знания. На ценность для современных исследователей изданныго в 1952 г. и малоизвестного Словаря церковнославянского языка ("Речник на църковнославянски език") А. Бончева указала Р.М. Цейтлин. Огромная начтанность и проникновение в смысл богословских сочинений позволили автору словаря включить в него важнейшие данные по истории ряда слов и особенно их отдельных значений. Об изданном Матицей сербской небольшим тиражом (500 экз.) в 1992–1994 гг. словаре В. Михайловича "Пуритмы от Орфелина до Вука" рассказала Г.Г. Тяпко. Словарь является первым и пока единственным специальным словарем славяно-сербского языка. Докладчица показала актуальность и чрезвычайную сложность лексикографической разработки одного из важнейших периодов в истории сербской культуры и языка, дала обзор основных характерных пластов славяно-сербского лексического фонда.

Проблема диалога культур в словарях разных типов рассматривалась в ряде докладов. В.Г. Гак в своем докладе выделил и проиллюстрировал многочисленными примерами ряд типов расхождения между языками и культурами, существенных для двуязычной лексикографии: 1) различное членение одних и тех же фрагментов мира, проявляющееся в объеме значения слов; 2) различная символизация сходных слов в двух языках, проявляющаяся в коннотациях данного слова, в его переносных значениях и в связанных с ним фразеологизмах; 3) различия в реалиях жизни того общества, которое польз-

зуется исходным языком. Систематическая лексикографическая разработка лексики с социокультурным потенциалом закладывает, по мнению выступавшего, основы для создания специализированного словаря культуры. О "диалоге" русской и французской культуры в Славяно-французском лексиконе А. Кантемира (созданном, вероятно, в 30-е годы XVIII в.) рассказала Е.Э. Бабаева. Центральным пунктом расхождения культур России и Франции являлась конфессиональная область, содержащая зону несовпадений между православием и католицизмом, закрепленную в языке. В докладе был рассмотрен ряд способов преодоления асимметрии на языковом уровне, к которым прибегал А. Кантемир при соотнесении относящихся к этой области номинаций. О скрытых межкультурных конфликтах в диалектной лексикографии говорил А.Ф. Журавлев. Лексикограф-диалектолог далеко не всегда с необходимой трезвостью оценивает дистанцию между его культурой, представляющей собой в наше время достаточно высокотехнологичный городской европейский стандарт, и традиционной культурой, стоящей за объектом описания. Докладчик особо подчеркнул, что неосознание разности культур, несовпадения их элементов влечет за собой ошибочные лексикографические решения: тождество на лексемном уровне далеко не предполагает сходства концептов, стоящих за формально совпадающими единицами. "Диалог культур" в Словаре ОКДА (Обще-карпатского диалектологического атласа), представляющем собой особый тип словаря – "глоссарий", был рассмотрен Г.П. Клепиковой. Этот Словарь не является простым "индексом" лексико-словообразовательных форм в соответствующих томах Атласа, он 1) содержит и тщательное описание семантики всех лексических единиц, 2) отличается чрезвычайно высокой степенью концентрации терминалогической лексики, 3) в качестве метязыка использует русский язык, что позволяет отразить и анализировать специфически карпатскую лексику (и семантику) как бы "извне" и выявить некоторые закономерности отражения в языке механизма "диалога культур". Особенности древнерусской лексики переводной литературы стали предметом рассмотрения И.И. Макеевой. В докладе был проанализирован результат соприкосновения греческой и древнерусской культур в переводе "Истории иудейской войны" Иосифа Флавия. А.И. Соловьев на примере

тщательного семантического анализа двух прилагательных, на протяжении всей истории литературного латинского языка передававших понятие эстетической красоты, – *formosus* и *pulcher*, рассмотрел отражение в языке соприкосновения греческой и латинской культур.

Проблемам создания специализированных словарей культуры было посвящено несколько ярких докладов, вызвавших оживленную дискуссию среди присутствовавших. Сложнейший вопрос о сущности и объеме понятия "культура" был поднят в докладе З. Барболовой. Создаваемые в настоящее время словари языка фольклора были проанализированы С.Е. Никитиной. Докладчица указала на несколько характеристик словарных описаний, по которым противопоставляются или объединяются три проекта словарей этого типа – московского под руководством С.Е. Никитиной, курского под руководством А.Т. Хорленко и польского под руководством Е. Бартминьского. В своем докладе о словарной форме изучения славянских демонологических поверий Л.Н. Виноградова показала, что традиция изложения в словаре номинативной лексики по алфавиту обнаруживает целый ряд сложностей, так как лексикограф сталкивается с "реальностью" особого рода, табуированием лексики, фигурами умолчания, персонажами, выступающими в постоянной ипостаси природных стихий, животных и насекомых, персонифицированных календарных праздников, дней недели и др. По мнению выступавшей, важно учитывать общую типологию персонажа, определяемого как совокупность характеризующих его признаков (мотивов) и имя как одну из таких характеристик.

В ряде докладов речь шла о новых лексикографических проектах и о некоторых актуальных проблемах лексикографического описания в словарях разных типов. О "филологической сверхзадаче" близкого к завершению словаря-тезауруса к Тихонравовскому дамаскину – памятнику новоболгарской письменности XVII в. – говорила Е.И. Демина. Она отметила, что выборка определенного круга лексем и наблюдения над индексальной частью позволит будущему исследователю, с одной стороны, судить о степени филологической подготовки анонимных книжников, их менталитете, с другой – восстановить некоторые детали народной культуры и народного быта эпохи. Символический аспект названий животных в памятниках восточно- и южнославянской

книжности XIII–XVII вв. был предметом рассмотрения в докладе О.В. Беловой. Как считает докладчица, следует поставить вопрос о создании специального словаря названий животных по памятникам древнеславянской книжности, который был бы призван отразить специфику значений, возникающих у слова в результате функционирования как в сфере "естественно-научных" представлений, так и в символическом контексте. Проблемы лексикографического описания старославянских наречий рассматривались В.С. Ефимовой. Различия в составе словников существующих словарей обусловлены не только различиями во взглядах их авторов на необходимый состав письменных источников для изучения старославянского языка, но и методологическими установками лексикографов, и характером самого описываемого материала. По мнению выступавшей, все формы, употребляемые в древних славянских текстах в качестве наречий, должны быть учтены и представлены в соответствующих словарях в самостоятельных словарных статьях. О создаваемом в настоящее время Словаре устойчивых словосочетаний русского языка говорилось в совместном докладе В.Н. Телии, Н.Г. Брагиной, Е.О. Опариной и И.И. Сандомирской. Новизна данного проекта заключается в попытке показать соотношение между связанным значением

и культурной коннотацией. В словаре предполагается отдельная зона культурного комментария, призванная эксплицировать и исчислить культурные коннотации и, шире, отразить культурную информацию. О замысле "Российского ономастикона" как словаря нового типа, т.е. лексикографического свода про-приальных имен разных разрядов, шла речь в докладе З.В. Рубцовой. Докладчица рассмотрела проблемы отбора, способа подачи материала, выбора заглавного слова статьи. О своем исследовании мотивационных узлов (гнезд) в современном болгарском литературном языке рассказала Д. Райнова. Она показала, что ограниченное количество мотивационных узлов, которое в современный период развития языка колеблется в интервале 12000–13500 (область лексикальной статики), является наиважнейшей системообразующей координатой, характеризующей язык. Число, характеризующее лексикальную статику современного болгарского литературного языка, равно количеству слов-мотиваторов. Лексемы в составе узла объединяются не только на основе ассоциативной общности, но и по своей формальной общности.

В целом работу конференции можно охарактеризовать как весьма успешную, и актуальность ее проведения не вызывает никаких сомнений.

© 1997 г. Ефимова В.С.

## Несколько штрихов к портрету ученого (С.В. НИКОЛЬСКОМУ – 75 лет)

Недавно отмеченная полувековая годовщина Института славяноведения и балканистики, где юбиляр работает чуть ли не с его основания, дает повод, оглянувшись назад, еще раз оценить тот большой вклад, который профессор С.В. Никольский, Заслуженный – и по званию, и по существу – деятель науки внес в развитие послевоенной славистики в нашей стране, в формирование в Институте коллектива литературоведов, которым он в течение длительного времени руководил, в исследование и пропаганду славянских культур.

В славяноведение С.В. Никольский пришел из русистики, окончив в 1945 г. русское отделение филфака МГУ. Темой его кандидатской диссертации (руководитель – П.Г. Богатырев) стало творчество Ф.Л. Челаковского. Проблематика чешско-русских литературных связей, олицетворяемых личностью Челаковского, органично связала молодого русиста с чешской литературой. Столы же органичным стал переход к проблематике романтизма, а затем – к фигурам К.Г. Махи, К.Я. Эрбена, К. Гавличека-Боровского и т.д. С.В. Никольский как бы вместе с чешской литературой проходил разные стадии ее развития, начиная с эпохи национального возрождения, что позднее получило отражение в его книге "Две эпохи чешской литературы" (М., 1981). Особо следует подчеркнуть ценность исследований С.В. Никольским романтизма. Его доклад на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г., написанный совместно с А.Н. Соколовым и Б.Ф. Стажеевым, "Некоторые особенности романтизма в славянских литературах", не только предложил концепцию "славянского романтизма", но и показал продуктивность сравнительно-сопоставительных исследований литературы.

Одновременно с погружением в глубины литературной истории осваивались и достижения чешской литературы XIX в. – творчество И. Волькера, Я. Гашека, К. Чапека. Карел Чапек сыграл особую роль в творческой судьбе своего исследователя, как, впрочем, и он – в литературной судьбе Карела Чапека. В 1950 г. в Гослитиздате

вышел томик "Избранного" К. Чапека с предисловием С.В. Никольского. Еще до войны у нас оценили талант и антифашистскую позицию этого писателя, хотя переведены были лишь немногие его произведения. Однако после февраля 1948 г. для литературного наследия Чапека наступили трудные времена. В Чехословакии тогда резко ужесточили культурную политику и принялись делять чешских писателей на "прогрессивных" и "реакционных" в зависимости от их политической благонадежности и верности национальным традициям. К. Чапек, истинный демократ и гуманист, выступавший против всяческих диктатур, как фашистской, так и пролетарской, испытания на политическую благонадежность не выдерживал. Да еще его пресловутая дружба с президентом Масариком, одиозной для тогдашней Чехословакии фигурой! Короче говоря, К. Чапеку на его родине конца 40-х–начала 50-х годов грозило забвение, его готовы были отодвинуть в тень, отринуть от чешской культуры. И вдруг, в это смутное время его книга выходит в Москве! А если Чапека признают там, то его со спокойной душой могут заново признать и соотечественники. Предисловие советского ученого оперативно переводят на чешский язык, издают в Праге отдельной брошюрой. Оно открывает Чапеку зеленую улицу в чехословацкие издательства. За С.В. Никольским закрепляется репутация "спасителя Чапека".

Своими работами о Чапеке (а предисловие к "Избранному" стало первой из них) С.В. Никольский сразу же обозначил высокий уровень российских исследований творчества Чапека. Высоко подняв их планку, он одновременно наметил и их глубину, которую подтвердили в дальнейшем и его книги: "Карел Чапек – фантаст и сатирик" (М., 1973), переведенная в Чехословакии, "Карел Чапек" (М., 1990) и многие статьи. Существенно, что в своих работах С.В. Никольский вводит фигуру К. Чапека в общеевропейский контекст, сопоставляя его с Дж. Свифтом, Жюлем Верном, Г. Уэллсом, А. Франсом, С. Лемом, Веркором, Р. Мерлем, Дж. Ору-

эллом, русскими писателями. В высшей степени интересен анализ С.В. Никольским структуры чапековской прозы, где осуществляется очень часто синтез различных жанров. Для ученого характерно внимание к слову, к тексту; способность прочесть его литературоведческим глазом, "развивчивая" на составляющие элементы, постигая "макро-" и "микропоэтику" писателя, аргументируя выводы анализом языка и стиля. И эта особенность С.В. Никольского показывает, что умение проникнуть в словесную ткань произведений, в сплетение ее нитей не монополия какой-то области знаний (семиотики, структурализма), а проявление истинного профессионализма. Он убедителен и в анализе философии писателя, и в анализе структуры его прозы, отливающимся в четкие и нередко изящные формулировки. Вот, например, как пишет он о "Войне с саламандрами", произведении не только "жанрового синтеза, но и как бы скользящей жанровой шкалы", где переливаются, перетекают друг в друга философский роман, политический памфлет, приключенческий рассказ.

Много сделано С.В. Никольским для исследования творчества Я. Гашека. Ему удалось, в частности, обнаружить в пражских архивах материалы о существовании реального Йозефа Швейка (1892–1965), послужившего прототипом знаменитого героя, воссоздать его биографию, включая пребывание одновременно с Гашеком в России. Все это легло в основу книги "История образа Швейка" (М., 1997), в которой предложена также реконструкция замысла ненаписанных частей романа Гашека.

Другая сторона научной деятельности С.В. Никольского – осмысление процесса развития славянских литератур. Под его руководством в Институте впервые в нашей стране создан целый ряд историй национальных литератур зарубежных славянских народов, в том числе "Очерки истории чешской литературы", где он является и одним из основных авторов. На протяжении всего издания восьмитомной "Истории всемирной литературы", подготовленной Институтом мировой литературы в сотрудничестве с другими институтами, С.В. Никольский в качестве члена редколлегии курировал раздел литератур Центральной и Юго-Восточной Европы. Им внесен также немалый научно-организационный и исследовательский вклад в изучение русско-славянских литературных связей, истории духовного общения славянских народов.

Кажется, совсем недавно С.В. Никольский отмечал свое 70-летие, к которому его коллеги и ученики выпустили сборник "Stuida bohemica" (М., ИСБ, 1992), открывающийся обширной библиографией трудов юбиляра. За пять последних лет, промелькнувших как один день, этот список пополнился новыми позициями (сейчас он насчитывает более 400 работ). В числе новых исследований – подготовленная монография об антиутопиях XX в. (на материале творчества братьев Чапеков, М. Булгакова и других писателей), главы о чешской литературе XIX в. для завершающейся трехтомной "Истории литературы западных и южных славян". Он ведет научно-организационную работу как член Редакционного совета этого издания и ответственный редактор 2-го тома.

К сожалению, никакая библиография не в состоянии учесть плодотворной деятельности С.В. Никольского в Российской Ассоциации друзей Чехии и Словакии, где он является членом ее Президентского совета и председателем созданного в 1990 г. Общества братьев Чапеков.

За последние годы пополнился и список наград ученого. К давно полученным званиям Заслуженного деятеля науки, почетного доктора Оломоуцкого университета прибавилась медаль Ф.Кс. Шальды (1995), которой уже постсоциалистическая Чехия подтвердила высокую оценку вклада С.В. Никольского в изучение и популяризацию чешской литературы.

Творческий путь С.В. Никольского, разумеется, не был усыпан розами. И ему пришлось испытать много трудностей, столкнуться с несправедливостью, непониманием или с нежеланием понять. В этом нет ничего примечательного. Примечательно достоинство, с которым С.В. Никольский встречал неприятности и трудности, уходя от них не в интриги, а в науку, подавляя обиды погружением в работу.

Сергею Васильевичу, вступившему на славистическую стезю в середине 40-х годов, суждено было – волею судеб – стать одним из первых деятелей возрождавшейся послевоенной отечественной славистики. Но и сейчас, по прошествии полувека, на исходе годов 90-х, он остается одним из первых в российском славистическом литературоведении. Но уже – не волею судьбы, а волею высокого профессионализма, самозабвенного служения науке и не по хронологии, а по качеству своих трудов.

## Новые издания Института славяноведения и балканистики РАН

В 1994–1996 гг. в Институте славяноведения и балканистики РАН вышли следующие издания:

Европейское социалистическое движение. 1914–1917. Разрубить или развязать узлы? М., 1994.

Политические партии и движения в Восточной Европе. Проблемы адаптации к современным условиям. М., 1994.

Польско-советская война. 1919–1920. Ранее неопубликованные документы и материалы. М., 1994.

*Михутина И.В.* Польско-советская война, 1919–1920. М., 1994.

*Улунян А.А.* Россия и освобождение Болгарии от турецкого ига. 1877–1878. М., 1994.

Российское византиноведение. Итоги и перспективы. Сб. тезисов конференции. М., 1994.

Славяне и их соседи. Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. (Тезисы XIII конференции). М., 1994.

\**Фрейдзон В.И.* Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX–нач. XX в. М., 1994.

\**Костюшко И.И.* Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму. М., 1994.

*Шушарин В.П.* Крестьянская война 1514 года в Венгрии. М., 1994.

Славянские съезды XIX–XX вв. Сб. статей. М., 1994.

НКВД и польское подполье. 1944–1945. (По "Особым папкам" И.В. Сталина). М., 1994.

Национализм и формирование наций. Теории–модели–концепции. М., 1994.

\**Очаги тревоги в Восточной Европе* (Драма национальных противоречий). М., 1994.

\**Семенова Л.Е.* Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной Европе (конец XIV–первая половина XVI в.). М., 1994.

\*История. Культура. Этнология. Доклады российских ученых к VII Международному Конгрессу по изучению Юго-Восточной Европы. М., 1994.

Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994.

\*Специфика литературных отношений. М., 1994.

\*Общекарпатский диалектологический атлас. М., 1994. Вып. 2.

Миф и культура. Человек–не-человек. Сб. тезисов конференции. М., 1994.

\**Кишкин Л.С.* Литература среди искусства и наук. М., 1994.

\*Австро-Венгрия. Опыт многонационального сотрудничества. М., 1995.

Бывшие "хозяева" Восточной Европы. М., 1995.

\*Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945. М., 1995.

\*Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. М., 1995.

\*Из истории общественной мысли народов Центральной и Восточной Европы (конец XVIII–70-е годы XIX в.). М., 1995.

\*Исследования по славянской диалектологии 3. *Калнынь Л.Э., Масленникова Л.И.* Изучение вариативности в славянских диалектах. М., 1995.

\*Книга в пространстве культуры. Тезисы научной конференции. М., 1995.

Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.

\*Национальный эрос в культуре. Тезисы докладов. М., 1995.

*Никифоров Н.В.* Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению сербских земель. М., 1995.

\*Павел Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня рождения). М., 1995.

\*Постреволюционная Восточная Европа. Экономические ориентиры и политические коллизии. М., 1995.

\*Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. Сб. статей. М., 1995.

\**Пушкин А.И.* Внешняя политика Венгрии. Апрель 1927 г.–февраль 1934 г. М., 1995.

\*Россия и Балканы. Из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в.–1878 г.). М., 1995.

*Савченко В.Н.* Восточнославянско-польское пограничье. 1918–1921 гг. Этносоциальная

ситуация и государственно-политическое размежевание. М., 1995.

\*Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы). М., 1995.

Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (Тезисы XIV конференции). М., 1995.

Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995.

У истоков "социалистического содружества": СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг. М., 1995.

\*Болгария и Россия. Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996.

\*Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996.

\*Виноградов В.Н., Ерещенко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Т.А. Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996.

\*Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия. 1878–1903. М., 1996.

\*Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.

Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. Вып. 28–29. М., 1996.

\*Обзоры Научного центра славяно-германских исследований. I. М., 1996.

\*Очерки истории культуры славян. М., 1996.

\*\*"Путь романтичный совершил..." Сб. статей памяти Б.Ф. Стакеева. М., 1996.

\*Русская эмиграция в Югославии. М., 1996.

\*Славянские матицы XIX в. М., 1996. Ч. 1–2.

\*Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы международной конференции. 20–22 февраля 1996 г. М., 1996.

\*Титова Л.Н. Образы и знаки в чешской культуре XVIII–XIX вв. М., 1996.

\*Улунян А.А. Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII–XIX вв. Библиографический словарь. М., 1996. Т. I–II.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 34А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 920. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

*Е.П. АКСЕНОВА. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы / Отв. ред. М.А. Робинсон (в печати)*

Монография посвящена самому драматичному периоду в истории отечественного славяноведения. Использованы многочисленные документальные материалы из архивов Москвы и С.-Петербурга, впервые вводимые в научный оборот и способствующие более полному и разностороннему освещению неизвестных или недостаточно изученных страниц истории славяноведения.

В работе отмечается влияние различных факторов на развитие или угасание славяноведения, изменение его статуса. Рассматриваются основные славистические центры страны. Преимущественное внимание уделяется научно-организационным вопросам славяноведения, вместе с тем выявляются общие тенденции, определявшие характер и направленность исследований по основным славистическим дисциплинам. Впервые подробно представлена история подразделений славистического профиля в научных учреждениях и учебных заведениях в 30-е годы, затронуты творческие судьбы ученых славистов, отмечены усилия некоторых из них по "реабилитации" науки, выявлена славянская тематика в научной периодике, прослежены международные связи советских славистов и т.д.

## C O N T E N T S

The Greetings of the Russian Federation President B.N. Eltsin to the 50th Anniversary of the Institute for Slavic and Balkanic Studies .....	3
Karasev A.V. (Moscow). 50th Anniversary of the Institute for Slavic and Balkanic Studies .....	4

### ARTICLES

In Memoriam Nikita Ilyich Tolstoy .....	7
Tolstoy N.I. On Vuk Karadjic.....	8
Vinogradova L.N., Tolstaya S.M., Agapkina T.A. (Moscow). Extractions from the Dictionary "Slavic Antiquities" .....	14
Norman B.Yu. (Minsk). On the creative Function of the Language (based on Slavic Languages)....	26
Venedikov G.K. (Moscow). The Evaluation of the Services which have performed the Creator of New Bulgarian Words .....	34
Vendina T.I. (Moscow). The Semantic of the Evaluation and its Manifestation with the Means of Word-Formation .....	41

\* \* \*

Birman M.A. (Jerusalem). P.M. Bitsilly (1879–1953).....	49
Zelenka M. (Praha). Roman Jakobson and the Slavic Studies in the Interwar Period (on the Discussion about the Character and the Limits) .....	64

### PUBLICATIONS

Olonova E. (Prague). "You know, that I learned the Chech language in the name of Vrchlicky..." (The Letters of K.D. Bal'mont to E.A. Lyacky 1920–1929) .....	77
---	----

### REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

Tolstoy N.I. S. Niebrzegowska. Sennik jako gatunek polskiego folkloru. Slownik i semantyka.....	104
Stykalin A., Kishkin L.S. E.P. Serapionova. Russian Emigration to the Chechoslovakian Republic (1920-30ies) .....	109
Sherlaimova S.A. Im Dissens zur Macht. Samizdat und Exilliteratur der Lander Ostmittel-Südosteuropas.....	116

*SCIENTIFIC LIFE*

<i>Efimova V.S.</i> The Conference "Slavic Leksykography: Dictionary and Culture" (100th Anniversary of the "Bulgarian Language Dictionary" by N. Gerov) .....	119
<i>Budagova L.N.</i> Some Remarks to the Portrait of Scholar (75th Anniversary of Professor S.V. Nikol'sky).....	123

Технический редактор *В.М. Пахомова*

---

Сдано в набор 10.04.97

Подписано в печать 23.05.97

Формат бумаги 70 × 100 <sup>1</sup>/16

Офсетная печать

Усл.печл. 10,4

Усл.кр.-отт. 6,6 тыс.

Уч.-изд.л. 12,1

Бум.л. 4,0

Тираж 628 экз. Зак. 1741

---

А д р е с р е д а к ц и и: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6

**Уважаемые подписчики научной периодики  
Издательства "Наука"**

Подписка на академические журналы издательства "Наука" в I полугодии 1998 г. будет проводиться по той же схеме, по которой она велась в предыдущем полугодии, – по ценам Объединенного Каталога Почты России "Подписка-98" (т. 1) в отделениях связи и по специальным (сниженным) ценам.

**Специальные (сниженные) цены** предоставляются Российской академией наук государственным академическим, библиотечным, вузовским, отраслевым научно-исследовательским организациям, их сотрудникам, докторантам и аспирантам. Цены Издательства в I полугодии 1998 г. не увеличены и остались на уровне цен II полугодия 1997 г. Цена доставки по почте на ваш адрес незначительно возросла.

**Индивидуальные подписчики** указанных организаций смогут оформить подписку по специальным ценам в редакциях соответствующих журналов либо непосредственно в Издательстве или его Санкт-Петербургском и Екатеринбургском отделениях по предъявлении служебного удостоверения. Лица, желающие получать подписные издания непосредственно на свои почтовые адреса, а также иногородние подписчики смогут оформить ее по специальным заявкам. Индивидуальная подписка по-прежнему будет проводиться по принципу "Один специалист – одна подписка".

**Коллективные подписчики** для оформления своего заказа должны будут направить в Издательство "Наука" надлежаще оформленные бланк-заказы. При положительном рассмотрении Издательством полученных заявок оплата производится через отделения банка или почтовым переводом на основании полученного подписчиками счета ЗАО "Агентство подписки и розницы" (АПР).

Специализирующиеся на комплектовании научных и вузовских библиотек академические организации (БАН, БЕН, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН, а также ВИНИТИ и др.) могут осуществить подписку, как и прежде, непосредственно в Издательстве, предварительно согласовав с ним список пользующихся их услугами организаций и количество льготных подписок.

Лицам и организациям, получившим право подписки по специальным ценам в предыдущем полугодии, достаточно будет при оформлении подписки в I полугодии 1998 г. лишь подтвердить заказ, указав в письме номер своего кода, присвоенного АПР при оформлении подписки на II полугодие 1997 года.

Убедительно просим всех индивидуальных и коллективных подписчиков журналов Издательства "Наука", имеющих право на подписку по специальным ценам, заблаговременно направлять свои заказы и письма по адресу: 117864, ГСП-7 Москва, В-485 Профсоюзная ул., 90 комната 430, факсы: 334-76-50, 420-22-20.

Поздно поданная заявка будет оформляться только с соответствующего месяца.

**В конце этого номера журнала публикуются бланки заявок с указанием цены подписки, доставляемой по вашему адресу.**